

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ

СОЛО

18

ДЕБЮТЫ:  
ПРОЗА  
ПОЭЗИЯ  
ЭССЕ

АЮРВЕДА  
РОССИЙСКИЙ  
ПЕН-ЦЕНТР  
1997



---

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

---

**СОЛО**  
**18**

---

МОСКВА  
„АЮРВЕДА“  
РОССИЙСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР  
1997

---

**Издатель**

АО «АЮРВЕДА»  
журнал «СОЛО»  
Москва, Госпитальный вал, 5, кор. 18

**Редакционная коллегия**

Владимир АБРОСИМОВ  
Андрей БИТОВ  
Дмитрий ДОБРОДЕЕВ  
Владимир ЗУЕВ  
Александр МИХАЙЛОВ  
Евгений ПОПОВ

**Редактор-составитель**

Александр МИХАЙЛОВ

*Продажу журнала «СОЛО» за рубежом  
осуществляет книготорговая фирма*

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH

Telefon: (089) 542 18 0; Telefax: (089) 542 18 2 18

D-80328, München 34, Postfach 340108

## В НОМЕРЕ

## ДЕБЮТЫ

Анна БЕЛЫХ. Стихи . . . . .	4
Александр СЕЛИН. Русская душа. Лолита. Любовь. Бумеранг. Хохотун Леонид. Снайпер. Амбарцумян. Бронетранспортер Ивана Шолгатова . . . . .	7
Александра ЖИРМУНСКАЯ. Робот Пенчик . . . . .	42
Сергей ЗУБАРЕВ. Стихи . . . . .	55

## СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Александр РОСЛЯКОВ. Игнатич . . . . .	57
Иван АХМЕТЬЕВ. Соло. Стихи . . . . .	95
Михаил ПОГАРСКИЙ. Стихи . . . . .	102

## МОНОЛОГИ

Ирина ЕРИСАНОВА. Белое на белом. Без названия	107
Антон ЛЫСАКОВСКИЙ. Приложение к роману-кон- тракту . . . . .	115

## ЗАПОВЕДНИК

Татьяна ЛУКИНА. Страницы из дневника . . . . .	129
<i>КЛУБ им. ПОЛКОВНИКА ВАСИНА</i>	
Софья КУПРЯШИНА. Ответ поэту . . . . .	145

## «СОЛО» представляет:

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Урал: в поисках контекста	147
Иван СУЗДАЛЕВ. Хранить вечно . . . . .	150
Рустам ВАЛЕЕВ. Кусок ананаса . . . . .	158
Катя БУШУЕВА. Рукопожатие и нежность . . . . .	164
Василий ДОРОГОКУПЛЯ. Расступись, Иордан! Куль- тура случая. У нас в Испании . . . . .	167
Борис КОНЧЕЕВ. Стихи . . . . .	175
Я. ГАЙВОРОНЦЕВ. «Капчо» и другие стихотворения	178
Журнал «Уголовное Дело» (Челябинск) . . . . .	180

Анна БЕЛЫХ

\* \* \*

Когда отъезжает уже не крыша — веранда,  
И в зеркале скалится лик иной,  
Прекрасная дворничиха Миранда,  
Скрипя зубами, приходит за мной.

В руках у нее заводная расческа,  
В фартук завернуты эти стихи...  
Начинается расчистка моего мозга  
От всей этой, с ее точки зрения, чепухи.

Она произносит: «К чему эти страсти?  
Разве слаще «Кампари», «Алабашлы»?  
И Мамлеев — не тот ли, что Маркес разве?  
Все давно уже было, сплыло и всплыло. Пошли!»

Но я не спешу, мне знакомы эти приколы,  
По ее метле пропущен электроток.  
Я бросаю в нее свой умственный скарб пустяковый,  
Я сажаю в мозгу резиновый нежный цветок.

Когда он расцветет, пахнувший коноплей и лавандой,  
Красивый, как член, и белый, как семя его,  
Тогда ты уйдешь, несчастная потаскуха Миранда,  
Так и не завершив полезного труда своего.

### ПОПЫТКА СОНЕТА

Гаданием по «Книге Перемен»  
Ты заполняешь жизненную полость...  
Оно забавней святочного, то ёсть —  
Ряд вариантов судеб, встреч, измен —

Раз в триста шире, но зато взамен  
Сухих травинок риса — карты, свечи...  
Традиционной прелестью отмечен  
Обычай вышеназванный. Всё — тлен.

Потрать монетки, пыль стряхни с колен,  
 Набей подушку хмелем, бергамотом.  
 Усни, забудь о вечности, чего там!  
 В стране с непросыхающим народом —  
 Тщета — гадать о чуде перемен!

\* \* \*

Когда у него промокали ботинки,  
 Она говорила: «Вот и весна!»  
 Он рисовал на обоях картинки —  
 Она замечала их только во снах.

Он пел ей песни, она сажала их в клетки,  
 как пойманных птиц.

Когда он курил свои сигареты,  
 Она разливала по полу духи.  
 Он начищал свои пистолеты,  
 Она стреляла в дверные глазки.

Он пел ей песни, она сажала их в клетки,  
 как пойманных птиц.

Когда он ушел от нее в апреле,  
 Она поняла это лишь в ноябре.  
 И он не узнал, что в начале недели  
 Она, включив газ, легла на ковре.

Теперь он оглох.  
 А она продолжает  
 выпускать его ласковых птиц...

\* \* \*

*В. Санчуку  
 «Мальчик, мальчик,  
 Ты так весел,  
 так светла твоя улыбка...»  
 «Лучший вид на этот город,  
 если сесть в бомбардировщик...»*

Это такая игра — всадник подстреленный скачет.  
 Страшно, почти как кончать вниз головой из окна.  
 В зеркале третий торчит, слева четвертый маячит.  
 Нам и вдвоем, Боливар, скоро настанет хана!

Это за мной, Боливар, слышишь? — шаманы завывли...  
Ты погаси, помочась, гуннов ночные костры.  
Конь продолжает... Лицо всадника красно от пыли...  
Это уже не игра, я выхожу из игры.

### РАЗМЫШЛЯЯ О ПРЕКРАСНОМ

Бугенвиллеи вянут в пыльной вазе пустынного зала,  
В голубые цветы не уткнуться красивым лицом.  
Их искусственный шелк лжет о том, что судьба не сказала,  
Приведя в соответствие смерть со счастливым концом.

Притворяется солнце, что светит в немые рамы,  
Притворяются кошки, что им не по вкусу икра.  
Телефон притворяется несоучастником драмы,  
Притворяются двери и шепотом врут доктора.

Колумбарий закрыт на сезон високосного ада,  
Дух Святой не летает над гнилыми пустотами вод.  
Распродажа дешевых идей по свободным расценкам

блокады

Постоянно открыта, хотя все уходят на фронт.

Притворись, что ты умер, когда к тебе кто-то стучится,  
Притворись, что не жил в этом городе, доме, стране,  
Притворись, что не знал этой женщины, дерева, птицы,  
И тогда ты останешься жить на звенящей от боли струне.

---



Александр СЕЛИН

### РУССКАЯ ДУША

— Вот это мороз, едрёныть! — Панкратов стоял голый по пояс посреди комнаты и хохотал, глядя на заиндеветшие окна. — Вот это мороз, твою мать!

— Мороз, смотри какой! — Панкратов сдернул одеяло с полуспящей жены. — Мороз!

— Да иди ты! — Наталья повернулась на другой бок, стыдясь наготы, и попыталась было затащить одеяло назад и укутаться.

— Куда, куда?! — хохотал Панкратов, отбрасывая одеяло в дальний угол комнаты. — Мороз какой, а ты спишь! Ладно, ложись на живот, помассажирю...

Наталья, соображая, что одеяла уже не вернуть, лениво перевалилась на живот. А Панкратов, уловив момент, со всего размаха шлепнул ладонью по натальной заднице. Получилось так звонко, что проснулись все четверо ребятшек в соседней комнате и одновременно заплакали.

— Цыц! — крикнул туда Панкратов, и дети замолкли.

А у Натальи перехватило дыхание от обиды за такой бесстыдный и откровенный шлепок. Она глядела ненавидящими глазами и хватала воздух, силясь подобрать обидные слова. Панкратов, понимая в чем дело, быстро повалился ей на спину и закрыл рот ладонью.

— Ну — тихо, тихо! Я же пошутил... Ну?! Ну?

Наталья отошла быстро и уже через минуту хохотала от смехотки. Иногда руки уходили дальше, и Панкратов, крихтя, сильно сжимал натальнину грудь.

— Ну, Володь, полегче! Ну больно же, Володь!

— Тсс! Я же твой муж, а, Нат, муж?.. Можно? — Панкратов склонял голову, пытаясь заглянуть Наталье в глаза. — Мужу-то можно, а, Нат? Или нельзя мужу?.. Любишь меня?

— Люблю... — прищурилась Наталья и захохотала опять.

Вдруг Панкратов вскочил, сел на край дивана, быстро закурил и отвернулся.

— Володь, ты что?

Но Панкратов молчал, отворачиваясь еще дальше и быстро затыгивался.

— Ты что это, Володь? Что с тобой?

Панкратов отворачивался снова. Наталье руками удалось-таки повернуть к себе его лицо. По щекам Панкратова текли слезы.

— Господи, да что с тобой? — голос ее дрогнул.

— Война проклятая... Сколько людей из-за нее погибло...

— Так ведь давно же... Тебя ж на свете не было, Володь... — Наталья опять не могла подобрать слова, но замолчала совсем, вдруг поняв свою глупость, и когда Владимир резко повернулся, опустила глаза.

— Ничего ты не понимаешь! Ничего! — Панкратов поднялся, одел рубашку и зашлепал на кухню. — Одевайся! Дура!..

Завтракали молча.

## ЛОЛИТА

Ой, какая чудесная жена у Себастьяна! Лолита. Маленькая прекрасная Лолита. Она тихая и незаметная, его мышка. словно живой комочек притаилась за комодом. И только черные глаза из-под челки смотрят игриво и ласково на радость Себастьяну. Доволен Себастьян своей женой. Вот он ходит вразвалочку, растопырив руки. Ищет, ищет. По комнатам ищет, потом на кухне.

— Лолита!

Устал Себастьян искать жену. А она и сама это чувствует. Раз, и прыг! Прямо на руки Себастьяну. Такая теплая. Мягкий комочек. И прижалась к груди, источая любовь и ласку. И обнимает ее Себастьян, и целует, и шепчет на ухо. А она, Лолита, кивает, взмахивая челкой в ответ.

И знает Себастьян, что заболел он, случись с ним какой недуг, несчастье, — то будет лежать, свернувшись на груди у него комочком, его мышка. И те самые глаза, что сейчас доверчиво сияют из-под челки, будут преданно следить за дыханьем и пульсациями тела стонущего Себастьяна. А потом недуг пройдет, и опять останутся любовь да радость.

Вон как суетится Лолита возле печки. То у белья, быстро-быстро работая руками, а вот уж и нет ее. Да где же она, где? На веранде. Ух ты! Быстро-быстро, раз! И на руки к Себастьяну. Хозяюшка! Хозяйка...

Трудности и невзгоды преодолевает Себастьян с любовью в сердце. Вот он хлещет грубую мосластую лошадь на пашне. Вот он мокнет под дождем, спасая сено. А вот, наконец, переборов стихию, откидывается передохнуть.

Да разве ж толстая повариха на гумне заменит Лолиту? Да разве ж заменит ее, черноглазую, что целует с разбега. Да нет, конечно! Где уж ей, поварихе. Да еще с таким весом. Да еще на гумне. Да еще после дождя. Это, знаете, как будто мешком придавило во время срочной погрузки. Когда двое ребят... с размаху... мешком, а ты отвернулся. Так и здесь... Как навалится у сеновала всем телом — аж дышит Себастьян через раз.

Но вдвойне тогда радостно возвращаться к Лолите. А та и прыгнет на руки, разбежавшись по коридору. Обхватит цепкими ручонками кряжистую шею Себастьяна. Губками! Губками!

Видите, совсем другие дела!

Война не миновала дом Себастьяна. Вот надевает он ружье и подтягивается к колонне, помажав на прощанье любовью.

— Я вернусь!

А чего там? Конечно, вернется! Отчего не вернуться? Вся колонна бы вернулась, будь у каждого такая Лолита. Но не у каждого в колонне такая Лолита.

— Я вернусь!

Вернется к Лолите Себастьян.

Да разве сравнится с ней длинноногая скуластая горожанка? Из тех, которых обычно полно в освобожденном городе после боя. Стучит каблучищами, как копытами. Грубая такая, мосластая, как Себастьянова лошадь. Такую, как лестницу, несешь к кровати, задевая шкаф, торшер, чуть ли не люстру. Такой не скажешь «моя мышка» или «мой комочек». Обязательно или ваза, или полка полетит, когда वालीшься с такой оглоблей на кровать. Охает Себастьян, потирает ушибленную поясницу. Потирает отбитые локти. Одни только синяки и ушибы. Это не Лолита. Нет.

Тут и командир будет кстати, когда явится и пошлет на задание. С трудом оправляется Себастьян от той лошади, с трудом. Все болит. Мысли путаются. Всего шатает. А надо брать языка. Под козырек — и в поле. А ослушаешься, тогда не то что Лолиты... ни городской лошади... ни даже толстой поварихи на гумне...

Перебежками. Перебежками. Вот как на войне надо двигаться. Так и делает, так и делает сейчас Себастьян. И пригорок ему укрытие. И снег в радость. Куда только ни зароешься, лишь бы противник не зафиксировал. В нору заползешь! Хорошо, если там нет лисицы. А если есть? Тогда... Вот и думает Себастьян — что тогда? И чего только не сделаешь, чтобы перехитрить рыжую извивающуюся шалунью. Чтоб не кусалась, не дергалась, а лежала тихо. И ласкаешь, и чешешь за ухом, и врешь с три короба. И нет никакой гарантии, что эта рыжая предательница все время будет так и лежать... а не выпрыгнет, не дай Бог, в снежное поле, выдавая Себастьяна обзирающему округу противнику. Сначала прикинется, а потом как выпрыгнет! Подальше нужно держаться от таких лисиц.

Но нет женщины хуже, чем женщина военнослужащая вражеской стороны. Тут никакие ласки и уговоры не помогут. Чеси ей за ухом, не чеси, ври с три короба... Бесплезно! Шипит. Скалится. Матом шлет. Вся в бензине. Слева минометный расчет работает. Сверху — штурмовики. А справа пулеметное гнездо. Тут только по морде бить да руку заламывать, с одновременной подсечкой. И катиться в бронежилетных объятых подальше от прожекторной видимости. Да еще следить, чтобы за кобуру не ухватилась. И, не дай Бог, не дотянулась до гранатной чеки.

Вот когда Себастьян по-настоящему вспомнит Лолиту. Нежный комочек. Ах, как бы хорошо нес он ее с собой, прорываясь из окружения. В сумку, и вперед, пока бой не утихнет. А утихнет — открыл сумку и... Вот она! Вот они, черные глаза из-под челки, вот они — ручки тянутся. Ну, давай же, давай же, ну! Молодчина! Прыг — и на шею! Не какая-нибудь размалеванная маркитантка, что раздевает и убегает с одеждой, а Лолита; не какая-нибудь контрразведчица, что покопавшись в чужих документах, эротически стонет, а Лолита, та самая настоящая Лолита; и уж, конечно, не какая-нибудь медсестра...

О женщинах-медсестрах просто и не хочется вспоминать. Медсестра — это как бы вообще не женщина. В какой-то момент, когда с огромным трудом вырвешься из окружения, доберешься до лазарета, эта медсестра, эта белокурая сволочь, с первого взгляда может чуть ли не Лолитой показаться. Ласковая такая, чуткая! «Потерпи, миленький, потерпи...». «Потерпи-потерпи», — а сама раз — и к другому

раненому. И опять: «потерпи-потерпи», ходит кругами, дразнит раненных. А чуть что — орет и зовет главврача.

Один полковник (я точно не помню его фамилии), выпи-сываясь из лазарета, сказал буквально следующее:

— Если я еще раз!.. Если я еще раз!.. Эту суку! (*это он про медсестру*) Если я еще только раз!

Он сделал паузу, закурил и добавил:

— Когда мы шли в бой, и слева и справа от меня падали убитые товарищи...

Тут он замолчал, тяжело вздохнул и направился к телефонной станции.

## ЛЮБОВЬ

Инженер Харитонов никак не мог вступить в брак. Не мог по очень простой причине — женщины, которые любили Харитонova, ему не нравились, а сам он не нравился женщинам, которых любил. «Чертовщина какая-то! — думал Харитонов. — Почему же нет того совпадения, о котором так часто пишут в романах и показывают в кино? Ведь должна же существовать обоюдная любовь?» И, увидев в компании очередную женщину в своем вкусе, Харитонов бросался ее провожать, доводил, как правило, до подъезда, где ему в очередной раз давали понять, что следующей встречи не будет. Харитонов психовал. Иногда бросал оскорбления в адрес обольстительницы, что действовало облегчающе минут на десять. И в очередной раз возвращался домой, угрюмо поглядывая на проходящих некрасивых баб, которые строили ему глазки.

Харитонов вновь и вновь погружался в романы и кинофильмы. Из некоторых он узнал, что любви можно добиться, если проявить настойчивость, волю и страсть; в некоторых прямо предлагалось совершить героический поступок. «Ну, что ж, попробуем для начала настойчивость!» — решил Харитонов и пошел провожать очередную полужнакомую красавицу... которой, видимо, надоел уже на подходе к автобусной остановке.

— Спасибо, дальше не надо! Дальше я поеду одна, — поблагодарила красавица и впорхнула в автобус.

— Но мы еще встретимся! — громко и неуверенно крикнул вслед Харитонов.

Красавица улыбнулась и отвернулась. Минуту спустя Харитонов остановил такси и потребовал ехать вслед за автобусом. Ему было стыдно, но, вспоминая вчерашний ки-

нофильм со счастливым исходом, в котором герою помогла именно настойчивость, он решил дожать дело до победного конца.

Проехали остановок десять, а дама все не выходила. Таксист, которого Харитонов просил каждый раз притормозить за автобусом, был не по-книжному раздражен и все время спрашивал — сколько еще? Красавица сошла только на конечной остановке и обернулась на сокрушительный мат, которым таксист провожал Харитонову, заплатившего точно по счетчику. Покрасневший Харитонов приближался к красавице со словами: «Я же обещал, что встретимся!» — не зная, отвечать или нет таксисту...

Красавица, не говоря ни слова, побежала прочь, а Харитонов с виноватой улыбкой бросился за ней, соображая, как бы на его месте поступил какой-нибудь опытный киноактер. К большому огорчению Харитонова, красавица бежала быстро, расстояние сокращалось медленно, и забег не походил на догонялки влюбленных, которые Харитонов не раз наблюдал в кинофильмах и про которые читал... Харитонов как можно ласковее прокричал фразу, в которой уместил и отсутствие дурных намерений и то, что он скоро станет старшим инженером, и что одной, вообще говоря, ходить поздно, но при этом сбил дыхание и сильно отстал. Поэтому остальное расстояние покрывал молча и в задумчивости. Отступать было уже поздно — у бегущих были общие знакомые, которым впоследствии красавица могла все рассказать и испортить Харитонову репутацию на несколько лет. Выход был один — догнать и завоевать ее сердце либо же просто попросить ее никому не рассказывать, как он за ней гнался...

Пробегая мимо мусорных баков, вонючих, как ни в одном романе, Харитонов сделал ускорение, чем выбил убегающую из ритма и, видимо, поэтому, не добежав двадцати метров до своего подъезда, красавица споткнулась и сильно ударилаась головой о бордюр.

Стояла июльская лунная ночь. На тротуаре, в двадцати метрах от подъезда, возле бордюра лежала и громко плакала молодая красивая женщина с окровавленным лбом. В окнах темного дома, зевая, стояли полусонные жильцы и поговаривали о «скорой помощи». Около стройного тела молодой женщины суетился Харитонов, приспособившая носовой платок в качестве повязки, ойкая и извиняясь в те моменты, когда нечаянно хватался не за те места...

## БУМЕРАНГ

Бумеранг — страшное оружие. Бумеранг возвращается назад. Если вам когда-нибудь случится запустить эту штуковину — бегите!!! Удирайте что есть мочи! Ибо ваш бумеранг, поразив цель, непременно развернется и со свистом пронесется как раз в том месте, где должна находиться ваша голова. Даже если вы успеете заскочить за угол дома, нет никакой гарантии безопасности и спокойствия. Не нашедший вас сразу бумеранг может резко повернуть в сторону и свалить страшным ударом. Но и это еще не все. Он будет бить, колошматить до тех пор, пока вы не попросите пощады. Тщетно! Не знает жалости бумеранг. Даже лежащему на асфальте бумерангу ничего не стоит вскочить и в приступе бешеного тупоумия порвать вам штаны, набрав нужные обороты отточенными деревянными лопастями, или хотя бы просто — цинично пошлепать по щекам.

Мне часто вспоминается случай, как группа усталых тружеников сидела и пела в ожидании дождя. Как вдруг из-за грозových туч появилась черная стая и со страшной скоростью приближалась, первоначально напоминая птичий клин. Когда люди спохватились и бросились врассыпную, было поздно. Бумеранги не только разили людей на улице, но и настигали в подъездах. А некоторые, выбивая стекла, врываются в дома. Одна женщина, спасаясь от бумеранга, закрылась в шкафу и не заметила, как он тихо-тихо пробрался туда же. И затаился... А когда заперлась, он вскочил и с диким свистом принялся рубить ее вместе с одеждой. Так и похоронили несчастную вместе со шкафом, думая о живых.

Но не все бумеранги опасны для человека. Некоторые лишь срезают верхушки деревьев, пролетая в мирном ночном небе. Некоторые тихо планируют над травкой. А некоторые и вовсе — ковыряются в земле. Говорят, японцы научились бросать бумеранг в шахту с тем, что он рубит уголь и возвращается на поверхность. В этом смысле за бумерангом будущее. Надо только научиться использовать свойства его чертовского вращения и динамику воздушного полета.

Я представляю себе мирного косца, метающего бумеранг под спелые колосья яровых и озимых. Ну, и, конечно, вонна, защищающего созидательный труд. Он стоит на страже границы, поместив бумеранг в специальную кобуру. Или же

следит из-за укрытия за открытым небом. Готовый в любую минуту поразить воздушную мишень, раскрутив закомуфлированный бумеранг-перехватчик.

## ХОХОТУН ЛЕОНИД

Леонид хохотал обычно в самых неподходящих местах. Хохотал так, что тряслись стены, сыпалась посуда и рушилась люстра, если она вообще висела там, где хохотал Леонид. После окончания смеха обессиленный Леонид падал среди осколков битого стекла и лежал ниц до тех пор, пока не приезжали медработники, пробирались среди разваленной обстановки и увозили истощенного Леонида в отделение интенсивной терапии и усиленного питания.

Потрясенные друзья неделями не могли прийти в себя. После чего собирались и молча ехали навещать хохотуна Леонида. Который обычно лежал в палате. На больничной койке. Без движений. С грустными глазами, устремленными в потолок.

Леонид не понимал анекдотов, был равнодушен к карикатурам, не боялся шекотки. Смех на него находил очень редко. Но так внезапно! И, как правило, в таких неподходящих местах, что хохотуна Леонида боялись куда-нибудь приглашать. Его не звали на именины. Освобождали от собраний. Не пускали на демонстрации. После чего Леонид разворачивался и с грустными глазами удалялся от кордона, опустив флаг или бумажную гвоздику, которые, как правило, изготавливал сам.

Однажды известный писатель-сатирик, подготовивший новую юмористическую программу, рискнул пригласить хохотуна Леонида на премьеру в надежде, что Леонид расшептит весь зал и сделает программе рекламу. Но зал не издал ни звука. Все в ужасе смотрели на хохотуна Леонида, который молча сидел на первом ряду и грустными глазами рассматривал вспотевшего сатирика, исполняющего свою программу, обреченную на провал.

После крушения любимца публики хохотуна Леонида стали бояться еще больше. Люди перестали рассказывать анекдоты, реже смеялись и вообще предпочитали не появляться на улице. И даже милиция старалась куда-нибудь скрыться, увидев хохотуна Леонида, совершающего вечернюю прогулку. А Леонид, подняв воротник, в полном молчании бродил по опустевшим тротуарам города и грустными



глазами рассматривал зашторенные окна и серые стены домов.

Время в городе летело быстро. Зима мало отличалась от лета, а день от ночи. И с невысоких холмов, окружающих город, редко доносилось эхо или какие-то звуки... И лишь временами жуткие взрывы хохота, звон стекла и грохот падающих предметов напоминали о том, что город жив.

## СНАЙПЕР

После демобилизации снайпер Шокотов, отойдя двести метров от гарнизонных ворот, залез на сосну и замаскировался.

Часовые на башне, пораженные быстрым исчезновением снайпера, с помощью бинокля многократного увеличения, внимательно просмотрели дорогу на гражданский ландшафт. Туда же с верхушки сосны еще более внимательно всматривался отставной снайпер Шокотов голубыми глазами с маленькими точками зрачков.

Через три дня гарнизонная охрана, обнаружив снайпера, сняла с дерева и повезла к поезду на родной поселок. Гудел мотор, курились заначки, балагурили гарнизонники. И лишь подконвойный Шокотов в полном молчании встречал вечерние огни станции, прищурив голубые глаза.

Шокотова посадили на плацкартное место. Полковник лично дал телеграмму: «Встречайте снайпера» и велел гнать в гарнизон, потому что нет времени. Машина отправилась в гарнизон, а в поселок поезд помчал, полный пассажиров, глядящих в окна на мелькающие объекты. Туда же с верхней полки еще более внимательно всматривался отставной снайпер Шокотов голубыми глазами с маленькими точками зрачков.

Все Шокотовы и другие поселковые, собравшись на перроне, радостно встречали снайпера криками: «Шокотов! Снайпер Шокотов!» В это время проводник поезда расталкивал и уговаривал притихшего под одеялом снайпера, очень внимательно глядящего на проводника поезда голубыми глазами с маленькими точками зрачков.

Дома Шокотов был торжественно встречен. На столе был кабан, птица, лакомства. Играла веселая музыка — «Модерн Токинг», и председатель колхоза подробно рассказывал о достижениях притихшему сосредоточенному отставному снайперу.

Ночью демобилизованный исчез. Его не обнаружили на чердаке, в подвале и других местах. Три дня крайнего недоумения! На четвертый день конюх Поликарпов случайно за камнем, возле дороги обнаружил притихшего замаскированного отставного снайпера Шокотова! Из отчета конюха Поликарпова на поселковом собрании: «Лежит за камнем. Молчит и пялится! А глазища — голубые-голубые! А зрачки маленькие-маленькие! Оптика!» В эту ночь в поселке никто не спал. А кто спал, видел одно и то же: голубые глаза, почему-то четыре шомпола и мастерски отстрелянную мишень! Через три дня у агронома Шарафетдинова пропала двустволка. Одновременно с пропажей двустволки исчез отставной снайпер Шокотов! Вскоре знатному пахарю Толстикovu во время пахоты показалось, что бревно, торчавшее на краю пашни, стало к полудню лежать чуть левее!.. Бросив плуг, кнут, коня к чертовой матери, с криком: «Шокотов!» — пахарь убежал в избу, из которой больше не выходил.

Исчезли соль, мыло, спички. Огурцы выращивали в траншеях. В магазины ходили перебежками. Вечерами третий не прикуривал. А от громкого щелчка или чиха выхлопной трубы тренированный человек падал, катился в кювет и замирал, глядя на небо. Огромное голубое небо. С бесконечно огромными голубыми глазами. С маленькими точками зрачков.

**Постскриптум.** О двустволке. Вернее сказать, о ружье с двумя стволами. Это вам не одностволка. Не-ет. Это ружье, у которого стволов в два раза больше, чем у обычного одноствольного огнестрельного оружия. Два ствола. Два. Сначала идет первый ствол, а потом второй ствол. Все остальное без изменений. Порох, патроны, приклад. Это да. Это так... Но стволов... Чего уж там говорить? Это надо видеть! Спроси у любого прохожего: «Сколько стволов у двуствольного огнестрельного оружия? Один? Или два?». «Два», — ответит прохожий и зашагает в два раза быстрее. Но все равно. Все равно, даже если ружье будет и одноствольным, все равно некуда деться прохожему. Если, конечно, как следует отрегулирована прицельная планка. Если, конечно, спокойное дыхание. И очень точно наведен прицел. В диоптрическом прицеле очень важно кружки совместить так, чтобы они стали концентрическими, а в обычном — важно, чтобы верхний край прорези совпадал с верхним краем мушки. И нажимать спусковой крючок нужно обязательно плавно, предварительно сделав глубокий-глубокий выдох.

## АМБАРЦУМЯН

Восходящее солнце осветило облупленную стену карцера. Щелкнул замок. Четко скомандовал конвоир. И по темно-зеленому коридору лейтенанта Амбарцумяна повели на расстрел.

— За что стреляют? — спросил конвоир.

— За казенное имущество, — ответил Амбарцумян, виновато покачав головой.

У тупика сидел небритый капитан и три казаха с винтовками.

— Назад! — скомандовал капитан. — Патронов не подвезли.

Восходящее солнце вновь осветило облупленную стену карцера.

Щелкнул замок. Четко скомандовал конвоир. И по темно-зеленому коридору повели лейтенанта Амбарцумяна. Повели на расстрел.

— За что стреляют? — спросил конвоир.

— Эх! — вздохнул Амбарцумян. — За казенное имущество, — и покачал головой.

У тупика сидел небритый капитан. Рядом — ящик патронов.

— Назад! — скомандовал капитан, — казахов не подвезли.

Первые лучи восходящей зари пробежали по красному кирпичу тюремного фасада и осветили облупленную стену карцера с арестованным лейтенантом. Щелкнул замок. Четко скомандовал конвоир. И повели. Повели по темно-зеленому коридору. Повели Амбарцумяна на расстрел. Повели лейтенанта Советской Армии.

Конвоир: «Ну что, поболтаем?»

Амбарцумян: «Да-да, конечно».

Разговор о казенном имуществе.

У тупика на ящике патронов сидели три казаха с винтовками.

— Капитан ек! — сказали казахи. — Назад!

На четвертую ночь Амбарцумян крепко заснул и проспал до полудня.

— Амбарцумян, вставай!! Стреляться пора! — Три казаха с винтовками и небритый капитан, гремя ящиком патронов над ухом Амбарцумяна, будили на расстрел. Как не хотелось встать лейтенанту Советской Армии Амбарцумя-

ну, можете себе представить. Но пришлось. Пришлось идти по темно-зеленому коридору. Пришлось — с тремя вооруженными казахами. И небритым капитаном с ящиком патронов.

— А что конвоир? — приободрился Амбарцумян. — Не подвезли?

— Да. Очень трудно всех собрать, — сказал капитан. Дальше дело было так.

Лейтенант Амбарцумян — о казенном имуществе.

Три казаха с винтовками — молчание.

Небритый капитан: «А вот тупик».

Полуденное солнце, пробиваясь сквозь щеки красной кирпичной стены тюремного фасада, освещало тупик. Три казаха с тремя винтовками по команде небритого капитана вскрывали ящик патронов. Небритый капитан искал бритвенный прибор. Подвезли конвоира. Конвоир четко скомандовал: «В тупик». И пошел к трем казахам искать небритого капитана. Один из казахов отделился, положил винтовку и пошел в тупик слушать команду конвоира. Капитан отыскал прибор, щелкнул замком, взял винтовку казаха и направился к ящику патронов. Два казаха и конвоир, открыв ящик патронов, доложили капитану и пошли. Пошли по темно-зеленому коридору. Искать Амбарцумяна на расстрел.

— Назад! — скомандовал сам себе Амбарцумян и пошел туда, где третий казах.

Восходящее солнце в пятый раз осветило облупленное небритое лицо лейтенанта Советской Армии Хорена Амбарцумяна.

— Встать! — скомандовал сам себе лейтенант и посмотрел под кровать. Ящик лежал. Казенное имущество было на месте.

### **БРОНЕТРАНСПОРТЕР ИВАНА ШОЛГАТОВА**

Я хочу поведать тебе историю, товарищ, и не так чтобы просто тебе, а чтоб целому человечеству... Я хочу рассказать рассказ и не так чтоб просто, а именно рассказать, чтобы рассказать, а не оставить обычно записанным на бумаге... Оставаясь в твердой памяти с детских лет и до последнего поцелуя, я не жалею ни о каких фрагментах в пройденном своем жизненном пути, за исключением единственного, когда я сорвался в канализационный люк, остановив такое нужное лейтенанту пение. С болью досады я возвращаю память вновь и вновь к тем роковым шагам, приближавшим меня

к черному асфальтовому отверстию, пытаюсь повернуть время вспять и не повторить ошибки. Обогнуть или перепрыгнуть этот проклятый люк, оторвавший меня от военной службы с одновременным грохотом и чернотой... Я жгу рукописи, но опять берусь за перо. Чтобы еще раз облачиться в гимнастерку политрука и еще раз поглядеть на маэстро, Маэстро бронепехотной работы лейтенанта Ивана Шолгатова.

В нашем гарнизоне, где я проходил кадровую военную службу, никто толком не умел стрелять из пистолета Макарова. О, не спешите винить командование нашего гарнизона за плохую подготовку личного боевого состава, нет. Что касается автоматов Калашникова или даже пистолетов системы «Стечкин», то у нас всегда были великолепные результаты и с бедра, и лежа, и на бегу — на любой вкус гурмана-наблюдателя. Но вот что касается Макаровых, то нет — и все. Рок какой-то преследовал гарнизон многие годы. Даже если отличник-стрелок со своим «притертым» оружием переходил к нам на службу, то тут же начинал мазать. Молоко, единицы, в лучшем случае четверки. Наваждение какое-то! Не буду углубляться в космические и потусторонние силы, в которые я уверовал впоследствии на гражданке, нет. Не до субстанций сейчас. А скажу только, что накануне межгарнизонных стрельб подполковник Нестеров устраивал себе командировку куда глаза глядят. И перепоручал весь этот позор майору Долину, который и отдувался за все. Долин прекрасно осознавал, чем закончатся очередные мучения из Макаровых, и уже загодя ходил красный и обзывал «мазлами» и «воронами» всех, кто ему попадался в офицерском общежитии. Надеюсь, по-видимому, что обидные прозвища вселят уверенность в соревнующихся. Что неверно. Офицеры прекрасно знали про долинские хождения по коридорам и старались не попадаться майору на глаза, чтобы не натолкнуться на грубость. Я же как замполит обычно ходил в такие дни вместе с майором и уговаривал его смягчать выражения. Понятное дело — не действовало. Но долг есть долг. Вот и тогда-то, в тот памятный для меня и, наверное, для майора вечер, мы и познакомились с лейтенантом Шолгатовым. Вчерашним курсантом, только прибывшим по направлению. Диалог был примерно следующим.

— Ворона!

— Никак нет! Разрешите обратиться!.. Лейтенант Шолгатов прибыл для прохождения...

— Ворона!

— Никак нет! Лейтенант Шолгатов...

— А я говорю, ворона! Мазло!

После третьего обзывательства молодой лейтенант молча предъявил документы и отдал честь.

Разъяренный от такого хамства, Долин тут же посадил новичка под арест (о чем, наверно, до сих пор жалеет) и вспомнил про арестованного уже после стрелковых состязаний, во время проводов хохочущих и улюлюкающих офицеров из соседнего гарнизона.

— Выходи, ворона! — скомандовал майор в темную сырую землянку. — Выходи, все промазали, отстреляешь и ты свое, мазло!

Вот тогда Шолгатов и произнес ту самую первую удивительную фразу, ставшую поворотной для меня, для Долина и для всего гарнизона. И которую я всегда воспроизведу в точности, сколько бы ни сжигал своих рукописей и не переписывал опять. Шолгатов принял ремень, застегнул и улыбнулся, словно бы вышел не из землянки, а из массажного кабинета.

— Товарищ майор, существуют ошибки, причины которых я чувствую, но сейчас не могу объяснить. Если удастся доставить хорошую мелодию на полигон, я не сделаю ни одного промаха.

Долин отреагировал тогда странно, во всяком случае, необычно для кадрового офицера, пораженный то ли уверенным тоном, то ли вожделенным сиянием шолгатовских глаз. Он долго стоял в молчании, покачиваясь на каблуках, долго, минуты две, осматривая невзрачного новичка с головы до ног. Потом расхохотался и бросился в инвентарную, откуда вернулся на полигон для стрельбищ уже с патефоном и пластинками певицы Клавдии Шульженко.

— К стрельбе приступить! — скомандовал Долин, довольно грубо приставив звукоснимающую головку и ухмыльнулся, предвкушая, как накажет лейтенанта за промах.

Шолгатов, казалось, уже не обращал внимания ни на кого, он задумчиво передернул затвор Макарова и посмотрел грустными глазами куда-то в небо, морщась и вздрагивая от тресков старой, заезженной пластинки. Мне показалось, у него даже выступила слеза. Лейтенант присел на корточки, посидел полминуты, опираясь сморщенным лбом на невооруженную левую ладонь. Но потом резко встал и все увидели

удивительное превращение: сухощавый паренек с тонкими руками в тяжелой шинели, одетой как будто бы на крест, в единое мгновение преобразился в могучего кадрового ястреба. Раздувающиеся ноздри вдыхали свежий ветер с полигона. Ветер трепал шинель и прядь русых волос. Он вытянул правую руку, которая застыла и больше не дрогнула. И под чудесные обертона певицы сделал восемь подряд выстрелов в зеленую грудную мишень.

— Лейтенант Шолгатов стрельбу закончил!

Но рапорта мы как бы уже не слышали. Все пули легли в «десятку». Все...

Зазвучала новая песня. Не спрашивая, Шолгатов выхватил у майора вторую обойму и с другой мишенью сделал то же самое. Потом с третьей. Музыка еще звучала. Кажется, это был «Синий платочек».

— Обойму, майор! — кричал Шолгатов оцепеневшему Долгину. — Обойму!

— Больше нет. — Долин не знал как ответить.

— Обойму, майор! Ты слышишь мелодию?!

Шолгатов бросился, схватил майора за воротник и затряс, напрягая вены на худых руках.

— Обойму, майор! Под такую мелодию нельзя простаивать!

Я бросился высвободить Долина. Но Шолгатов уже тряс и мотал нас обоих по траве до тех пор, пока музыка не завершилась. После чего обессиленный лейтенант повалился на траву со словами: «Вы не любите искусство». Повалились, обессиленные, и мы.

Уже вечерело, пошел дождь, помню... а мы еще долго лежали на траве, неподвижными глазами уставившись друг на друга. И тонкие дождевые струйки стекали со слипшихся волос на плотные воротники наших шинелей.

— Причем здесь музыка, не понимаю! — Подполковник Нестеров, слюнявя палец, ковырял в дырках грудных мишеней, которые мы с Долиным доставили к нему в кабинет. — Но выстрелы, конечно, хороши, — он щелкнул языком, — одна в одну почти что... Так, может, он и без музыки не хуже положить может?

— Мог бы, не стал бы просить патефон, — возразил Долин. И тут же напомнил, что именно он собственноручно доставил патефон на стрельбище.

— Хм, а как же в бою? — прищурился Нестеров. — Пригнать таскать за ним, что ли?

— А почему бы и нет? — Я с жаром стал защищать шолгатовскую потребность. — Сзади несут проигрыватель, а Шолгатов стреляет. Но это во время атаки...

— Ты, что ли, понесешь?

— Если понадобится, я и понесу. А вообще-то существуют множество трансляторов, магнитофоны, плейеры. Кроме того... у нас же мотопехота. В бронетранспортере еще и не такое можно установить.

— Ну-ну, понесло, понесло! — Нестеров нахмурился.

— Если на то пошло, то в войсках запевалы назначают-ся, а не трансляторы.

— К сожалению, товарищ подполковник, я только сейчас стал глубже осознавать причину запевал и вообще музыки в военной истории. Но что касается Шолгатова, то мне кажется, мы имеем дело с тонким даром понимания мелодии. Наши запевалы скорее орут, чем поют. Вот когда приходится быть чуть-чуть дальновиднее, если мы хотим чего-то добиться...

— В конце концов люди разные бывают, — поддержал меня Долин. — Я знал одного водителя... Ну так он без стакана вообще машину завести не мог. А как примет, то хоть с закрытыми глазами... Вот так и музыка для некоторых.

— Ну понятно, понятно. — Нестеров по-прежнему ковырял мишени, наслаждаясь кучностью и просматривая на свет. — Что за армия? Все с отклонениями... Один без чеснока не засыпает, другому водку подавай, третьему музыку... Вот только руководству ничего такого не позволено... Никаких выходов. Никаких отклонений. Ну, и что предлагаете теперь?

— Досуг музыкальный для начала нужен, товарищ подполковник. Я давно это предлагал. Шолгатова в актив вести...

— Да, вкус у него есть... — кивнул Долин.

— Ну, вкус, скажем так, у всех есть, — ухмыльнулся Нестеров, — а вот чтоб так стрелять... Ладно, валяйте... Стой!.. — Он все же окликнул меня, когда я за Долиным выходил из кабинета. — Если что, смотри! Погонями ответишь, понял?! Чтоб без дураков!

— Каких дураков, товарищ подполковник?

— А таких, что сам знаешь. Чтоб без разврата, понял? Бардак вместо службы!

— Обижаете, товарищ подполковник, результаты у вас в



руках. — И я указал на мишень, с которой он все еще не расставался. — Вот же мишень!

— Я тебе покажу мишень, самодеятельная крыса! — У Нестерова задрожала щека и затряслись губы. — Небось в упор настреляли! Гвоздиками наковыряли, а мне пыль в глаза! Кру-гом! Марш! Стой! И запомни — чтоб без расхлябанности!

— Так точно!

— Что «точно»? Что «точно»? — заорал Нестеров. — Ни хрена не «точно!» А поймешь, поздно будет! Мне бойцы нужны, а не чудилы с отклонениями!

И Нестеров метнул в меня пресс-папье да так, что дубовая дверь, которую я успел закрыть за собой, еле выдержала удар, при этом хрустнув. И еще два увесистых предмета шарахнули в дверь следом, когда мы с Долиным сбегали по лестнице. Мы улыбались. Мы хорошо знали Сергея Федоровича Нестерова. Как и то, что подобные метания возникают в минуты вдохновения, которые испытывал подполковник в предчувствии хороших перемен. Мы с Долиным выбежали на воздух, пожали друг другу руки и разошлись.

Шолгатова я разыскал в офицерском общежитии и очень долго не мог приступить к разговору, потому что он попросту меня не замечал. Хотя мы и находились вдвоем в одной комнате. Лейтенант не услышал приветствия, не видел и меня, хотя и глядел явно в мою сторону, заставляя ждать, отчего становилось неловко и как-то не по себе. С расстегнутым воротником гимнастерки он вглядывался в мою сторону, но через меня, как сквозь туман, и шурился, простирая руку, словно бы предлагая отойти, чтобы рассмотреть что-то далекое-далекое сзади.

— Здравствуйте, Ваня, — я наконец снял фуражку, подошел и положил фуражку рядом на стол.

— Ах, это вы... извините... Я как-то... Сейчас-сейчас! — Он энергично натирал виски.

— Заснули, Ваня?

— Нет-нет... Наоборот... Явь... самая настоящая явь... Как бы это вам объяснить... Вы слышите, как соловей поет?

— Нет.

Я действительно не слышал никакого соловья. А за окном в это время гремели гусеничные орудия.

— Действительно, очень трудно, замполит, в таком шуме услышать соловья. В некоторых случаях сам себе придумываешь это пение, уйдешь в собственную выдумку и сле-

дуешь, следуешь ей, и вот кажется, что все вокруг это же слышат. Только вот не слышат, потому что ты сам себе это пение придумал. А как нужна натуральная природная гармония! Она для всех и куда чище! Куда живительней! Я, помню, курсантом под живого зяблика сорок один раз подтянулся. А так — только двадцать четыре...

Я смотрел на него и мне не верилось. На вид Иван Шолгатов был очень невзрачен, сероват, даже с недоразвитой мускулатурой, куда уж там двадцать четыре раза?

— Иван, простите, но птичье пение это как бы совсем не то, не то чтобы музыка, а я пришел как раз по вопросу...

— Все музыка, замполит, — возразил Шолгатов. — Все музыка, что природа. И все, что искусство, — музыка. И наоборот. Да и архитектура, и живопись, все — музыка. Только когда без подделки, без фальши, как и природа. Иной раз и оружие выполнено так, как будто сама природа дополнила кисть руки или там ложбинку завершило между холмиками удачной конструкцией... Только не этой вот, — лейтенант покривился в сторону старой самоходки, которая в этот момент прогромычала за окном.

— Так значит, тогда на стрельбищах, в тот вечер вам не обязательно... именно романсы Шульженко...

— О, да ради бога, ради бога... конечно, не обязательно. Если бы, скажем, майор Долин хорошо знал стихи или вы как следует танцевали, да будь вы просто во фраке, то и это сгодилось бы... Тоже музыка в переносном смысле. Выстрелы бы получились не хуже.

— А я уж было... — у меня аж закололо в висках от неготовности восприятия тонкости и масштабности рассуждений. — А мы были у Нестерова, обсуждали как раз этот вопрос насчет музыки...

Шолгатов улыбнулся, увидав мое замешательство, взял за локоть и подвел к картине, висевшей на стене.

— Вот репродукция картины. Всмотритесь внимательно... О чем она вам говорит?

— Ну, Глазунов, — буркнул я исподлобья (что там греха таить, больше не мог ничего сказать без подготовки).

— Глазунов, Глазунов... — Шолгатов опустил голову и даже обиделся за этот короткий ответ. — Глазунов. Вот и все, что мы часто отвечаем о картине и о художниках.

Но вдруг он вскинул голову, взмахнув русоволосым чубчиком, и, сильно сжав мой локоть, приблизил к глянцевой поверхности репродукции.

Я сразу почувствовал, как вместе с горячей речью и дыханием стала нагреваться его рука. Мне не удалось осознать всех предложений вдохновенно построенной Шолгатовым речи, но и немногих хватило бы на долгие месяцы детального анализа. Сознание просто тонуло в живительной искрящейся силе шолгатовского словесного водопада. Никто и никогда о картинах так больше не говорил. Иван то кричал, то переходил на горячий шепот, негодуя, что я не поспеваю за его быстрой мыслью, то вдруг о чем-то спрашивал и отвечал за меня, хлопая по щекам, если я ослаблял внимание. Я не почувствовал того момента, когда картина, преобразившись, приобрела трехмерность. И мы с лейтенантом оказались внутри этого мира, созданного художником, шагая по написанным равнинам и созерцая людей, то вдруг полетели самолетами среди облаков, уже настоящих облаков, наблюдая друг друга через дымку, то вдруг весь гарнизон с высоты птичьего полета, то бросая взгляд назад на самих же себя, стоящих и обсуждающих картину в комнате офицерского общежития. Я запомнил себя, обхватившего голову руками, и Шолгатова, кружившего по комнате и вокруг стола. Вдруг он присел. Его рука забарабанила по столу от избытка энергии. Но вот он схватил карандаш, лист бумаги и быстро-быстро что-то стал рисовать, не глядя на белый лист, а устремив взгляд на репродукцию, которая переросла в пространство.

— Вот что я думаю о картине, замполит, — резанула фраза. И мы опять очутились в комнате.

Остывая, как будто выпуская из себя воздух, Шолгатов поставил точку на белом листе бумаги, сломал и выкинул карандаш. У меня кружилась голова, и я хотел было выйти, но ахнул, бросив взгляд на оставшийся листок, на котором он рисовал только что. На листе получилась точная топографическая карта местности, которую, кроме Нестерова, Долина и меня, никому не полагалось знать в гарнизоне...

— Откуда, Ваня? — я испугался не на шутку, мне действительно стало не по себе.

— Я так сразу не могу тебе объяснить, ну хочешь, так понимай... картиной навеяло. Настоящая картина позволяет увидеть и додумать и не такое... Мы еще вернемся к этому разговору, замполит...

— Получилась секретная картина. До понедельника, Ваня, тебе этой карты знать не положено...

Я переминался с ноги на ногу, не зная, как действовать в сложившейся ситуации.

— Ладно... извини. Сейчас позабудем!

Он улыбнулся и резкими красивыми движениями разорвал листок на шестнадцать одинаковых кусочков.

— Сейчас позабудем!

Потом сильно и сознательно ударился головой о стену и повалился на кушетку. Я извинился и тихо вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Меня всегда возмущало нежелание наших солдат посещать гарнизонный клуб. Мне даже показалось, что «губа» для них гораздо более приемлемое место для проведения досуга. Корни такого отношения к клубу понятны, если вспомнить наше с вами детство, школу и вообще подростковые годы. Я согласен со многими методологами, утверждающими, что отношение к литературе и живописи или к художественной самодеятельности у нас прививается неверное. Связано это, очевидно, с непродуманностью школьных программ. А результат всем известен. Мой двор, где я проводил отрочество, был весьма типичен, то есть не был исключением. Ну и для мальчишки (помните?) считалось позорным записаться в танцевальный кружок или, скажем, научиться играть на фортепиано, вместо того чтобы играть в футбол, как все, драться и чинить mopеды. Я укоряю себя в лицемерии, вспоминая, как, следуя мальчишеским дворовым кодексам, лупил вместе со всеми соседского сына-скрипача, хотя по вечерам втихаря получал наслаждение от его скрипки. Я всегда ликовал в душе, когда родители брали меня с собой на оперетту, хотя внешне капризничал, кричал и сопротивлялся. Потом, конечно, в офицерском училище, настоящая натура взяла свое. Но, уверяю вас, чтобы застывший творческий дар проявился, нужны годы и еще раз годы. Понятное дело, никто из офицеров нашего гарнизона не культивировал клуб, кроме меня, которому, как замполиту, это вменялось в обязанность. И все они сочувственно козыряли, когда я отправлялся туда проводить занятия. Но на самом деле, я им сочувствовал. Я любил клуб. Любил по-настоящему, начиная с раздевалки и кончая дощатой сценой. Любил зал и всегда испытывал трепетное ощущение, которое возникало во время поднятия занавеса или когда звучали слова конферансье: «А сейчас состоится спектакль...» И всегда переживал, что загруженность по неотложным делам службы не позволяет мне как следует заняться репетициями и создать самому действи-

тельно хорошую постановку, выявив наиболее талантливых солдат-исполнителей в нашем гарнизоне. Но после последних общений с лейтенантом Шолгатовым я окончательно утвердился в одном. Надо идти в клуб. И смотрел на это здание с четырьмя толстыми колоннами уже не как на место развлечения и предмет ухмылок большинства кадровиков и новобранцев, а как на объект военной важности, полигон или, если хотите, офицерский штаб. Я шел в гарнизонный клуб репетировать. Но я шел работать. И офицерская гордость приходила на смену дурацкому состоянию неудобства, которое я испытывал когда-то под усмешками минеров, танкистов, автоматчиков и других представителей военных профессий нашего гарнизона.

В тот день была назначена последняя репетиция спектакля накануне премьеры, который ставился силами гарнизонной самодеятельности. Это была, помню, «Бесприданница» Островского. У меня не было времени как следует заняться спектаклем, поэтому репетировали солдаты сами. Делали это нехотя и плохо знали слова. Самое страшное, что я обнаружил, «дедовщина», оказывается, проникла и на подмостки. «Деды», вместо того, чтобы учить мизансцены, заставляли «актеров», что помоложе, читать свой текст с гильзой во рту, дескать, для «улучшения дикции». Я наказал прапорщика, игравшего главную роль, назначил сутки ареста с момента, как закончится премьеры. И, проведя репетицию, заставил его пять или шесть раз проштудировать главный монолог, при этом марширующего, удалив, разумеется, новобранцев, чтобы не унижать прапорщика в их глазах. Я закончил репетицию и собрался было уходить, как вдруг заметил Шолгатова. Он сидел на галерке, закутавшись в шинель, и неподвижным взглядом наблюдал за происходящим.

— Ну как? — поинтересовался я, поднялся и подсел рядом. — Что посоветуешь?

— Видишь ли, замполит, — начал Шолгатов, не сводя глаз со сцены, — я, конечно, мог бы поправить кое-что по мелочам, подчистить детали, но это спектакль не спасет. А здесь надо все перекраивать, если по-хорошему. Главная ошибка — прапорщик. Он главную роль не потянет.

— Наверное, это правда, только видишь ли... кем полагаю, с теми и работаю. А других нет.

— Нет?! Ты что говоришь, замполит? У тебя же целый гарнизон! Понимаешь, гарнизон! Другие есть. Есть. Если

поискать, конечно... Я сегодня двух автоматчиков на БТР принял. Новобранцы. Совсем зеленые. А какие актеры! Какие глаза — ты бы видел! У одного поначалу руки тряслись: обычная история, не знал куда девать руки. А как полный «рожок» вставил и как двинул по местности... Ты бы видел пластику, замполит! По дереву белкой, по ручью — рыбой, что называется. Перевоплотился! Я даже и не командовал, одним взглядом руководил. Молодец какой!

— Ваня... все опять было под музыку?

— Да... под скрипача. Долин доставил. В общем... Я вот к чему... Отдай мне «Бесприданницу», замполит! — Шолгатов перешел на горячий шепот. — Отдай, какая разница, кто режиссер, не губи текст. Ты пойми — это же клуб. Весь гарнизон смотреть будет. Разве же можно так халатно перед целым гарнизоном...

— Я бы рад, но уже отбой, а завтра премьера. Где же ты раньше-то...

— А, черт, действительно поздновато, — Шолгатов закрыл лицо ладонями и задумался на минуту. Но потом вскочил, вырвал у меня томик Островского и убежал к себе.

Всю эту ночь перед премьерой я провел в беспокойстве, сожалея, что разбрасывался и не мог уделить время спектаклю. Шолгатовское напоминание, что спектакль будет смотреть весь гарнизон, прозвучало для меня целым приговором. Оставалось надеяться, что зал будет пуст, как это бывало в прежние представления гарнизонной самодеятельности. А команды на обязательное посещение Нестеров не давал. Однако надежды мои начали таять на другой день, когда появились новости об успехах шолгатовского боевого экипажа и о том, что все это тесно переплетено с художественным творчеством. За несколько часов до премьеры я почувствовал небывалый интерес к спектаклю среди офицеров, чего никогда не случалось. А за полчаса до начала возле входа скопилась целая толпа, спрашивая лишний билетик.

Сам Нестеров с женой подрулил ко входу минут за пять до начала и уселся в балконной ложе, окликнув меня как режиссера:

— Ну как, увидим что-нибудь?

Я покраснел. Хотелось провалиться сквозь землю. По большому счету смотреть сегодня было нечего. А зал был переполнен, и спектакль начался. Актеры, хоть и успели выучить слова, играли плохо. Я стал значительно требовательнее к себе и другим после разговора с Шолгатовым. И те-

перь мне было стыдно смотреть, как неуклюже двигался прапорщик по сцене, не знал, куда девать руки и прочее. А от него так много зависело, ведь он играл главную роль! Другие актеры действовали не намного лучше. И если бы не обилие звуковой фонограммы, которая немного сглаживала впечатление, то можно было вставать и уходить из зала. Я видел, как хмурится Нестеров, как равнодушно зевает Долин...

Но больше всего мне почему-то было стыдно пред лейтенантом Шолгатовым, человеком, который действительно понимает дело и для которого, должно быть, моя «Бесприданница» была просто настоящей пыткой. Шолгатов сидел в окружении своего боевого экипажа, закрыв глаза руками, и вздрагивал от каждой ошибки и постановочной шероховатости. Я чувствовал, как каждая клеточка его болела от происходящей халтуры. Не в лучшем настроении был и весь его экипаж. Но вдруг... То, что случилось во время второго действия, не знает история ни отечественного, ни зарубежного театров. И я, клянусь, не увидел ничего подобного впоследствии на гражданке, хотя и посещаю театры аккуратно каждый день. То, что произошло, я для себя зафиксировал как открытие. И назову его «методом Шолгатова», если когда-нибудь соберусь написать книгу о театральном искусстве. Иван вскочил, помню, с криком: «Подержи!», бросил мне шинель, пробежал мимо меня. И в несколько секунд очутился на сцене. Он оттолкнул прапорщика, прикрикнул на других актеров и сам начал играть главную роль! Да так, что зал замер. Все прекратили курить и переговариваться, а наблюдали теперь только за действием. Спектакль ожил. Жена Нестерова даже выронила мороженое на кого-то из офицеров. Но тот даже не обратил внимания, увлекшись зрелищем, повторяя губами фразы, ставшие магическими в шолгатовском исполнении. Иван то плакал, то смеялся, то кричал и давал столько оттенков создаваемому образу, что с лихвой компенсировал своим мастерством недостатки остальных нерадивых участников. Постепенно члены его боевого экипажа стали выбегать на сцену, вытесняя прежних актеров, и под финал весь сыгранный экипаж в полном составе дал почувствовать всему гарнизону, что такое настоящий успех.

— Браво!!! — вскочили солдаты и офицеры, как по команде.

— Браво!!! — кричал Нестеров. Он замахал руками, швыряя на сцену то цветы, то портсигары, то фуражки и все, что попадалось под руку. Он всегда так делал в минуты хорошего расположения духа. И даже попал сапогом в голову шолгатовскому механику-водителю, сыгравшему вторую роль. Но тот даже не шелохнулся, а только улыбался и продолжал кланяться публике, набираясь экстазного ощущения от успеха. Публика рукоплескала, вызывая актеров еще и еще. Но вот Шолгатов спустился с подмостков, под всеобщий рев одобрения взял меня за руку и вывел на сцену, несмотря на мои сопротивления. В свете софитов, как в лучах славы, мы стояли вместе с лейтенантом Иваном Шолгатовым.

— Ты заслужил это, замполит, — шептал Ваня. — Поправлять постановку все же легче, чем начинать с нуля.

Я был в душе очень благодарен лейтенанту за такую поддержку и тут же мысленно принял решение попроситься к нему в бронетранспортер, под его командование, хоть я и был званием старше.

— Я согласен, — ответил Шолгатов и улыбнулся.

— Ты еще и телепат? — удивился я.

— Нет, просто в такие минуты я многое вижу и очень хорошо чувствую.

Триумф «Бесприданницы» явился переломным моментом в жизни всего гарнизона. Служба пошла. Пошла, закрутилась, как в вихре вальса, в котором каждое движение просчитано в такт музыке. Боевые успехи росли на глазах у всех, кто мало-мальски приближался к прекрасному. От хозяйственников и поваров до танкистов и гранатометчиков, которые под звуки балалайки лушили макеты, как подсолнечные семена. От слов «художественная самодеятельность» веяло чем-то грозным, в том числе и для других гарнизонов. На стрельбах нам равных не было, а что касается физической подготовки, то мне запомнилось скандальное разбирательство после того, как наши ложечники-пехотинцы, действуя в такт и с прихлопом, измордовали заезжих хамовитых десантников. Уже и сам Нестеров, не стесняясь, перелистывал томик Пушкина, если не швырялся им в минуты хорошего расположения духа. А Долин настолько старался дотянуться до Шолгатова, что как-то перед праздником украсил гирляндами все бронетранспортеры гарнизонного парка. И чуть не запил после того, как Шолгатов, обрывая гирлянды, обозвал инициативу майора «вчерашним вкусом».



— Вспомните пианиста Горовица! — кричал Иван обескураженному Долину, залезая в люк своей машины. — Во время концерта не должно быть ничего лишнего! Даже шнурки на ботинках, чтобы не зацепиться, ограниченной длины. Так и на службе. Искусство не в том, чтобы бряцать гирляндами, а в том, чтобы поразить противника. Цените не себя в искусстве, а искусство в себе, майор! Другое дело, если именно вам в этом гирлянды помогают! Но зачем же другим их навязывать?!

Очень скоро сложилось, что никто из офицерских чинов не чувствовал морального права что-нибудь приказать Шолгатову. Ему не выдавали заданий. Он находил их себе сам. И поступал всегда правильно, как отмечал Нестеров уже задним решением. Шолгатов уничтожал объекты раньше, чем это Нестерову приходило в голову. На что подполковник поначалу обижался, а потом махал руками по обычаю, доверяясь гармонии лейтенанта в согласовании положения вещей.

Меня же и Нестеров и Долин довольно сильно ревновали к Шолгатову, когда я пропадал в составе его экипажа. Придумывали какую-нибудь дурацкую работу и устраивали «нагоняй», что, дескать, забываю обязанности замполита. Хотя, что такое обязанности замполита, когда гарнизон дышит исправно, как клавишный синтезатор, не объяснял никто. Скорее всего, это была зависть состоянию, моему состоянию, которое я испытывал после очередного моторизованного броска. И всякий раз они спрашивали меня, как действовали автоматчики, удобно ли скрипачу внутри бронепространства и не мешает ли фрак и бабочка командиру экипажа Шолгатову в тех случаях, когда приходится вылезать из машины и действовать врукопашную? А такое, между прочим, бывало, и не раз. Лейтенант в этих случаях оставял скрипача на полкорпуса в люке. Сам же шел впереди экипажа в атаку на неприятеля, развевая на ветру фалды черного фрака. Его бесстрашные действия были безупречны. А захват худыми руками в белых перчатках — смертелен. Он отказался от повышения в звании, которое ему предлагали досрочно, мотивируя это тем, что он еще не успел сделать свою «нетленку», а в минуту откровения поделился некоторыми мыслями со мной по этому поводу в офицерском общежитии.

— Видишь ли, замполит, не звания должны приходить, а признание. Что толку от этих звездочек, если тебя знают

всего-навсего в нескольких гарнизонах? Всеобщее признание — вот чего надо добиваться. Даже медали, мне иногда кажется, ни к чему! Что толку напялить и бряцать ими, если наши гарнизонные карнавалы, которые мы устраиваем, до того безвкусные, что даже чужим себя чувствуешь. Зато все в медалях! Вот давеча Долин... Нацепил маску «мистера Икс». При этом на нем мундир. Двенадцать медалей и майорские погоны. Ну какой это к черту «мистер Икс»? Или взять прапорщика, того, что в «Бесприданнице» плохо сыграл. На неделе получил медаль «За отвагу». А в следующую ночь взял отделение — и в разведку! Медаль начистил, блестит за километр! Ну и всех выдал. Медали, друг мой, надо уметь носить, Я, например, до сих пор сам не уверен, что умею носить медали. Да и, честно говоря, не нравятся они мне. Как-то без выдумки штампуют. Ты видел когда-нибудь по-настоящему красивую медаль? Желтые какие-то все, круглые, скучные. И названия-то какие... «За взятие», «За оборону». Словно ты что-то взял или не дал, а тебе за это медаль. Ты — мне, я — тебе. Торговля какая-то, тыфу! Ну, а что касается званий, то вот еще... Неблагозвучные они, замполит! Медведь на ухо наступил тому, кто их придумал! Например, «прапорщик» — фу-у! Звучит как «оборванец». Или вот «подполковник»! Еле выговоришь, зачем мне такое звание? Да и лейтенант, если на то пошло... тоже в песню не вставишь... Лучше уж вообще без званий, чем так...

— Маэстро! — улыбнулся я и поднял рюмку.

— А вот за это — спасибо! — Шолгатов был глубоко тронут. Подлил себе и мне и выпил залпом, оттопырив мизинец и высоко приподнимая локоть правой руки.

Свинцовые северные тучи, заволакивая небо, опускали тяжелую густую тень на всю местность, прилегающую к бетонной дороге, по которой двигалась бронированная автоколонна. Горе автолюбителю, оказавшемуся на встречном пути! Или зазевавшемуся природолюбу, который сейчас бросил на дороге автомобиль, чтобы углубиться в запахи полевых ароматов и позабыв о том, что прежде всего надо свернуть на обочину. А иной раз лихач-любитель, обгоняя боевые машины по узкой бетонной дороге, не рассчитывает длину и скоростные возможности колонны... Разгонится да и не обгонит! Так и затешется посреди гроыхающих форсированных бронегигантов. И долго будет, заблокированный, метаться и жалобно сигналить он никому не нужным город-

ским сигналом, заглушаемым гусеничным рокотом и гулом дизельмоторов впереди и сзади идущих бронемашин. И только клиновидные крылья да пулеметные турели будет видеть он, а не дорогу. Да равнодушные глаза механика-водителя задней машины. Который строго соблюдает на марше заданный интервал.

Но вот по команде остановится колонна. Резко. Как вкопанная. Так не умеют на гражданке. И врезается «Жигули» во впереди идущую боевую машину, прямо в те самые клиновидные крылья, которые долго маячили, убаюкивая защитным цветом, и теперь пропадают вместе с туманом в глазах самонадеянного автолюбителя.

А потом снова прозвучит команда из головной машины. Снова тронется тяжелая колонна, и подминается разбитая легковая жестянка уже сзади идущей бронетехникой. И опустится пыль и мазутная копоть на груды искореженного металлолома. «Ценность — категория относительная», — скажет философ.

— Долго! Очень долго отсутствуешь, замполит! — Шолгатов хмуро посмотрел на часы, потом на небо. И скомандовал механику-водителю: «Трогай!» — после того, как я опустился в люк. Вся колонна двинулась за нашей головной машиной, набирая обороты. А я уселся у тридцатимиллиметрового орудия, переживая, что непозволительно задерживаю марш-бросок. Я с самого раннего утра не испытывал вдохновения и несколько раз покидал бронетранспортер, чтобы побродить среди цветов, при этом останавливая всю колонну.

Лейтенант внимательно посмотрел на меня, потрогал мой лоб тонкими пальцами, сняв перчатку, потом повернулся к скрипачу и сделал жест руками на дирижерском языке, указав в мою сторону.

— Анданте? — переспросил скрипач.

Шолгатов кивнул и зазвучал Оффенбах, после которого мне стало немного полегче.

Постепенно бронемашина Шолгатова набирала скорость и уходила, отрываясь от остальных. Так лейтенант поступал всегда, чувствуя близость заданного объекта, а до города было уже рукой подать. Иван Шолгатов предпочитал действовать обособленно, так как на городских трассах одинокий бронетранспортер меньше привлекал внимания, чем несколько, не говоря уже о всей колонне. Так всегда есть воз-

возможность оставаться незамеченным долго-долго, прикрываясь каким-нибудь автобусом. Следуя за ним по маршруту или же подталкивая его, как мы обычно делали, чтобы вывести из оцепенения автобусного водителя, когда он делал ненужные остановки.

Я, как и любой из бойцов нашего экипажа, любил новые города. Любил наблюдать в перекрестье прицела архитектурные сооружения, памятники, торговые вывески или просто дома. Но больше всего мне нравилось вглядываться в лица людей. Когда работаешь с дальномером, особенно точно определяешь характеры по мимике, одежде и иным деталям. Разумеется, пока мы не разогнались до «крейсерской» скорости, когда все мелькает, и охватывать приходится не в деталях, а в общем. Мои товарищи по экипажу делали то же самое, прильнув каждый к прикладу, сосредоточенно глядя в автоматное гнездо.

На этот раз на смену бетонке пришелся булыжник, когда наша машина, громыхая, ворвалась в город. И весь экипаж завибрировал мелкой дробью, при которой предметы приобретали размытые очертания. «Интродукция и рондо каприччиозо», которую скрипач успешно развивал на бетонке... от нее не осталось и следа при переходе на булыжную мостовую. Шолгатов сорвал перчатки, показывая знаком скрипачу, что такое он не может слушать. Мне же захотелось покинуть броневик еще раз. В это время заработала рация. Шла трансляция с гарнизонной радиостанции. Послышалось пение. Мужской тенор.

— Выключи, — скривился Шолгатов, — это Долин. Только эфир засоряет. — И велел скрипачу перебираться на «стаккатто». Остальные же участники экипажа добавляли себе бодрости одновременным реперным «Эгей!»

— Неисправная булыжная дорога гораздо хуже, чем переправа по болоту, — кричал Шолгатов, пытаюсь говорить речитативом, чтобы быть понятым через музыку и грохот. — Когда медленно вязнешь — вагон времени на раздумья. А так — черт-те что! Фортиссимо, умоляю тебя, скрипач! Седой скрипач, развеивая космы, водил смычком, пропадая в тумане собранной пыли, что скопилась на металлическом днище. И теперь поднималась от булыжной вибрации, затрудняя внутреннюю видимость и язык жестов, который так необходим людям, постигающим дирижерскую грамотность. Несмотря на плохую дорогу, мы продолжали лететь, как птица, и постовые успевали сбегать с перекрестков, проявляя

уважение к нам, как к «Скорой помощи», что, пренебрегая правилами и торжествуя сиреной, летит по городу, сметая все на своем пути. После каждой колдобины на неисправной булыжной дороге весь экипаж синхронным локомотивным движением подавался вперед. Но ни один ствол автомата не утратил своего горизонтального положения и лишь только объекты размывались в приделах от этих толчков и сумасшедшей вибрации, которая не прекращалась.

Но вдруг Шолгатов захохотал. Как всегда с ним бывало, когда удавалось нащупать ритм среди хаоса автоколебаний. Его глаза загорелись сквозь сладковатую пороховую дымку и пыль. Он дал последние указания скрипачу, натянул перчатки и поправил бабочку, что предвещало «Фермато» для всех наших импровизаций, как любил говорить Ваня. Раз! И раздавленная кошка остается за колесами, выпуская темную кровь. В такие мгновения у механика-водителя начинался оргазм. Вот и сейчас он застонал, задвигал плечами, но руки его по-прежнему уверенно перемещали рычаги шолгатовской бронемашины. Последний поворот был крутоват для такой скорости, но и с ним механик блестяще справился. И только слышно было, как стекла да алюминиевые палочки посыпались по корпусу машины. Видимо, все, что осталось от галантерейного киоска, который пришлось зацепить при развороте на финишную улицу. Вот, наконец, показался желанный угол аптеки. Непонятный флаг и трое неприятелей, что тусовались с флагом. Шолгатов поправил набриолиненный пробор, хрустнул пальцами и приложился к черному кожуху пулемета. Одна очередь... Вторая... Но что это? Такого никогда не было! Двое исчезли в переулке. И только один зашатался, упал. Ошеломленный механик резко остановился. Послышался лязг милицейской «Волги», что спешила все время за нами. После чего в бронетранспортере Ивана Шолгатова воцарилась гробовая тишина. И только слышно было, как тяжело дышал скрипач, пытаясь приладить струну, что оторвалась перед выстрелами... Да повизгивал конопатый автоматчик, которому отскокившей гильзой разбило губу. Случился промах. Никто ничего не говорил.

— Я... я сейчас! Я исправлюсь! — засуетился скрипач, доставая какие-то плоскогубцы, то хватая, то выпуская струну, испуганно озираясь на боевых товарищей.

— Вот тебе, — прошептал Шолгатов. Сломал смычок и полез из люка.

— Можно и я с тобой? — попросил я.

Шолгатов кивнул, не отвечая. И бросился в переулочек, куда только что скрылись неприятели, держа наготове свой Макаров, из которого он пока еще не промахивался.

Метров через сто только я понял, что лейтенант плачет. То, что он позволил увидеть свою слабость, говорило о доверии, исключительном доверии, которое он питал не к кому-то другому, а ко мне. И я бежал теперь не как свидетель досадного промаха, а как друг. От которого маэстро ожидал поддержки, поворачивая в слезах лицо и командуя «вперед» тихим, грудным, не своим голосом.

И я запел, понимая, что многое могу и многое должен. Запел, попевая за черным фраком командира, набирающего темп под недружелюбными взглядами из окон ничего не понимающих обывателей. Так и бежали мы вдвоем долго. По булыжной мостовой пустынного переулочка. Молодой лейтенант во фраке с пистолетом в правой вытянутой руке. И поющий замполит с автоматом Калашникова.

Когда я очнулся, я помню, ничего не видел, кроме круглого светлого отверстия где-то высоко-высоко в зените. А кроме этого была сплошная чернота и сырость. И еще непроходящая боль с грохотом в голове...

— Люди! Где же вы? Люди! — закричал я, заклиная о помощи. Я начал стрелять вверх в надежде привлечь внимание сердобольных. Пули вылетали из канализационного люка одна за другой. Но так и никто не поспешил мне на помощь. Никто.

## САБЛИН И СОЛОГУБ

— Сологуб, не двигайся! — Саблин поднял пистолет и прицелился в Сологуба.

— Стреляй, сволочь! — крикнул Сологуб своему противнику.

— Я не сволочь, — обиделся Саблин, — у нас честная дуэль, а ты уже свой выстрел сделал. Не двигайся: между прочим, когда ты стрелял, я не двигался.

Саблин выстрелил и попал в руку.

— У-у! — Сологуб надолго скрючился, держась за локоть поврежденной руки, но когда боль приутихла, зарядил свой пистолет и прицелился в Саблина.

Выстрел прозвучал громко. Гораздо громче, чем предыдущий. Сологуб было обрадовался (уж больно здорово прозвучал выстрел), но увидев, что Саблин стоит цел-целехонек, чуть не упал от расстройства.

— Я попал? — спросил Сологуб со слабой надеждой в голосе.

— Нет, — ответил Саблин. Спокойно, как будто речь шла о чем-то отвлеченном. — Нет. Ну вот теперь, кажется, все. — Саблин передернул затвор своего пистолета и для удобства зачесал волосы, чтоб не помешали в секунду выстрела. А потом пальнул так, что Сологуб упал, как подкошенный.

— А-а! У-у! А-а! — орал Сологуб. Пуля попала в бедро, и боль была невыносимой. Сологуб катался по траве и долго ожидал спада болевого ощущения. А затем, опираясь на здоровую ногу, долго-долго целился в Саблина.

— Саблин! Прощайся с жизнью, — Сологуб так зверски нажал на спусковой крючок, что, казалось, не одна, а десять пуль должны были вылететь из черного ствола сологубовского орудия.

— Ну... Ну?! — ему показалось, что на Саблине колыхнулась одежда после выстрела. — Ну?!

— Нет-нет. Не попал, — Саблин стоял как ни в чем не бывало. — Нет-нет.

— А одежда?! На тебе колыхнулась одежда после выстрела! — Сологуб надеялся, что Саблин просто крепится и вот-вот рухнет на траву, бездыханный.

— Ну что одежда? Одежда могла и от ветра колыхнуться. Ты обратил внимание, что в момент выстрела подул ветер, а у тебя возникли эти иллюзии.

— Она колыхнулась от выстрела! — Сологуб хотел подбежать и проверить, есть ли рана. Лишь боль в бедре и жесткие правила дуэли не позволяли ему этого сделать (до окончания дуэли запрещается заступать за барьер).

— Ну, знаешь, если б ты попал, я бы сейчас так спокойно с тобой не разговаривал. Я бы сейчас корчился от боли и все вытекающее... Давай, стой! — Саблин хорошенько прицелился и попал в корпус Сологубу. И боль была просто колоссальная.

— Жуткая боль, — шептал Сологуб. — Жуткая боль. — Он лежал на спине и рассматривал очередной патрон, который должен был дослать и покончить с Саблиным раз и навсегда. «Пуля, миленькая, — заклинал Сологуб, — по-

пади в Саблина и убей его. Убей, чтобы не жил он на свете». Сологуб перевернулся на живот и, прижав к земле трясушую руку, прицелился так, чтобы не промахнуться. Он выстрелил. Но желаемого результата не получилось. Саблин стоял. И Сологуб умер от расстройства, потери крови и ран.

Саблин возвращался домой с места дуэли и морщился, припоминая каждую деталь этой изуверской пальбы. Он стрелял значительно лучше Сологуба и по всем прогнозам его победа не вызвала сомнения. Но вот ведь деталь... Он, Саблин, поступил нечестно, на нем был бронежилет. И один раз действительно почувствовал удар пули. Это было именно после третьего выстрела, когда (помните?) на нем колыхнулся пиджак. Он внимательно осмотрел пиджак. Да-да, действительно на пиджаке была маленькая дырочка, как раз где-то на уровне печени. Получается, что бронежилет его спас. «Ну, попал бы он в печень, — пытался оправдать себя Саблин. — Ну, не убил бы. Я все равно бы одержал верх».

И все же Саблин дошел до дома в тяжелом настроении.

— Ну что, победил? — окликнул его отец откуда-то с кухни.

— Да, в общем-то...

— Что значит «в общем-то»? Наповал?

— Да.

— Ну и молодец. А чего ж такой грустный? Убил и слава богу. Садись, а то щи остывают. Главное, что ты его, а не он тебя. — Саблин ел щи вяло, все смотрел на дырочку в пиджаке, но про бронежилет отцу не сказал. Непонятно, как он еще отреагирует. Поев, заперся в комнате и надолго остался в одиночестве. А через пару дней после похорон противника решил навестить его могилу.

Было прохладно. На кладбище не было никого, кроме жены Сологуба.

— Привет, — виновато улыбнулся Саблин.

— А-а, это ты, — женщина еще раз поправила цветы на могильной плите и отошла, наклонив голову. — Так лучше. Что пришел?

— Да не знаю, стыдно мне как-то...

— Чего ж стыдно? Ты же честно его победил. В равной борьбе. Это ведь дуэль. Если бы не ты его, то он тебя. Или — или. Так?

— Да вроде так... Могу ли я быть тебе чем-то полезен? — Саблина мучила совесть, он все время думал про



бронезилет, который теперь висел в шкафу. — Могу чем-то помочь? Загладить...

— Ну, если время есть, — размышляла жена Сологуба, сравнивая могилу мужа с остальными, — ...во! Калитку покрась, вот что сделай!

— Конечно, конечно, — Саблин был счастлив, что может как-то проявить участие. И на другой уже день калитка отливалась золотистыми оттенками. Победитель не пожалел денег на лучшую краску для могильной калитки Сологуба.

Но через неделю и эта калитка стала слабым утешением. Очень часто Саблину в минуты забвения вспоминалось колыхание пиджака после попадания сологубовской пули, волнительное ощущение и сильный глухой удар, который распределился по всему корпусу бронезилета. «Э-э, черт! Нечестно». И Саблин приходил в себя. Он сильно осунулся за последнее время. Неоднократно ему снилась та самая пуля. Она летела, ударялась в бронезилет в то самое место, где находилась печень, отлетала, колыхнув пиджак, и, как бы немного подумав, снова бросалась в него, скользила по бронезилету, ища брешь или край, а потом резко заскакивала за пазуху и, быстро прощекотав, впивалась в печень. Как раз в то самое место... После чего Саблин с криком просыпался и вскакивал.

Трудно объяснить почему, но Саблин впоследствии стрелялся на дуэлях очень часто. Палил чуть ли не каждый день. Причем перед началом дуэли демонстративно раздевался и голый по пояс шел в открытую на противника, улыбаясь, должно быть, в желании исправиться, что-то доказать, оправдаться перед самим собой.

— Зачем ты это делаешь? — спросил его как-то после очередного поединка умирающий противник, глядя на красноватое от загара тело Саблина. — Холод ведь такой...

— Да так, чтобы компенсировать... — Саблин не смог объяснить, что и как «компенсировать», не подобрал слов, кроме того, надо было отдышаться. Только что прошедшая дуэль была очень жестокой, и оба тяжело дышали, Саблин, сидя на кочке, и противник, истекая кровью на траве.

Ничего не помогало Саблину забыть дуэль с Сологубом. Даже групповые перестрелки с большим количеством участников и жертв, когда, казалось бы, в хаосе снующих пуль маму родную забудешь, а не то что какого-то Сологуба, даже тогда Саблин казался каким-то потерянным. В вялой задумчивости он укладывал очередного противника за дру-

гим, голый по пояс, а все вспоминал про колыхнувшийся пиджак и удар пули, распределенный по корпусу бронежилета.

— На, возьми, одень! — Саблин протянул однажды свой бронежилет очень опытному дуэлянту. Тот одел, удивленный. Они разошлись за флажки. Саблин выстрелил и попал в голову. И убил наповал. Вот так и жил он с тяжелым чувством. Уже и несколько лет прошло. Но однажды, проходя по кладбищу мимо сверкающей калитки Сологуба, все же не выдержал...

Прибежал домой, одел тот самый пиджак и выстрелил себе в ту самую дырочку, куда уткнулась было однажды пуля, в район печени. И очнулся только в больнице. Рядом с ним сидел доктор.

— Где это тебя так? — поинтересовался доктор, заправляя шприц.

— Где, где — на дуэли.

— А-а, понятно, — доктор сделал укол и хотел было уйти, но вдруг резко повернулся и горячо зашептал, наклоняясь к лицу Саблина. — Что же вы дураки такие? А? О чем же вы думаете, когда стреляетесь, а? Ну хоть бы один, ну хоть бы один догадался! Ну хоть бы один бронежилет надел!

— Какой бронежилет? — переспросил Саблин бледнея.

— А вот такой вот! Смотри! — Доктор расстегнул халат, потом рубашку и показал новехонький бронежилет. — Вот, смотри! Мы, врачи, ведь стреляемся... Куда деться-то? Но ведь думаем!

— А если пуля в голову попадет? — Саблин, с трудом скрывая отвращение, решил выяснить еще кое-что.

— А-а, брат, и тут у нас тоже защита, — доктор снял шапочку и показал массивную металлическую полусферу. — Смотри, дурень, вот!

— А если в бедро тяжелое ранение...

— А на это латы, латы имеются, — захохотал доктор и, закатав штанину, показал латы.

— Ну, сволочь, все. Завтра же к барьеру, — обиделся Саблин и, повернувшись на бок, захрапел. Спал он спокойно. Ни колыхающийся пиджак, ни дурацкие сны про пулю в эту ночь его не беспокоили. Ранним утром санитары отвезли его на коляске к месту дуэли, где уже были приготовлены флажки, пистолеты, в общем все необходимое. А вчерашний доктор, кусая от волнения губы, стоял голый по пояс в одних шортах и с непокрытой головой.

— Что же ты свой халатик не накинул? — издевался Саблин, проверяя оружие, продувая по традиции ствол.

— А что б знал, что честно бьюсь, — пробурчал доктор. — Все равно бы ты проверил. К чему мне теперь халат?

— Это верно, теперь ни к чему. — Саблин тоже разделся, поправил повязку и заковылял к барьеру.

— Сходитесь! — скомандовал молодой санитар-секундант.

Саблин хорошо прицелился и, не доходя двух шагов до флажка, пальнул, будучи в полной уверенности, что пуля сразу же свалит неприятеля (он значительно повысил свой класс в последних перестрелках). Но пуля полетела так медленно, что ее можно было обогнать шагом.

— Ну, быстрее! — Саблин топнул ногой, что тут же отозвалось болью в печени. — Да что такое? Почему она так медленно летит?

— Видать, не судьба! — хохотал доктор, глядя на приближающуюся пулю. Которая так дохло приближалась, что явно не могла нанести никакого вреда доктору. Доктор не спешил. Издеваясь, дождался пули, демонстративно подставляя грудь, и даже сделал ей шаг навстречу. А пуля, отскочив и лишившись всякого импульса, повалилась на землю.

— Ну я же... я же попал!

— На! Получай! — Доктор прицелился и снес одним выстрелом Саблину голову. — В холодильную камеру его! — скомандовал доктор собравшимся и пошел одевать халат.

Саблин погиб. Его похоронили и на могильную плиту принесли цветы. Все честь по чести. Одного невозможно понять. Почему же пуля летела так медленно? Что за мистика? И с другой стороны, почему пуля доктора снесла целую голову? Калибр-то всего восемь миллиметров. А? Может быть, доктор поможет что-нибудь прояснить? Вот он сейчас, кусая губы, пробирается на кладбище, чтобы покрасить саблинскую могильную калитку. Золотой краской. Оставив больных на попечение преданным санитарам-секундантам.

---

Александра ЖИРМУНСКАЯ

## РОБОТ ПЕНЧИК

*(Фантастический рассказ)*

Он уехал далеко-далеко, а Она осталась. Он не взял ее с собой, Она была молода и красива, но сейчас ему было не до Нее. У Него было все запрограммировано. Она же не входила в Его программу. Она была последним препятствием на Его пути. Последним, что могло удержать Его в бедной разоренной стране, называемой их Родиной.

Их роман, обещавший быть сумасшедшим, оборвался на самой высокой ноте. Голос сорвала Она. А Он твердил одно и то же: «Сейчас не время любить. Посмотри, что делается вокруг. Еще немного — и все полетит в тартарары. Надо бежать отсюда. Не верю я им! — он делал выразительный жест куда-то вверх. — Ничего они не смогут сделать».

Власть для Нее всегда была абстракцией, а Он пока еще реальностью. И Она хотела быть с Ним во что бы то ни стало, несмотря на обещанный холод и голод, на надвигавшуюся гражданскую войну. «Посмотри, кольцо сжимается, — говорил Он Ей после того, как они любили друг друга. — Я уеду и вытащу тебя отсюда. Ты увидишь, как прекрасен мир... Люди живут совсем по-другому. Они знают, что завтра все будет зависеть только от них».

Она смотрела в Его темные глаза. Вот Он здесь, рядом, но Его как бы нет. Он уже там, где сияющие небоскребы, вымытые с шампунем тротуары, улыбающиеся люди.

Америка — опасная соперница. Как бы ты ни была красива, она красивей тебя, как бы ты ни была богата, она богаче. Он хочет завоевать ее. Он сможет. У Него есть все для победы. Молодость, Способности, Трудолюбие. Чего Он только ни делал, когда разрешили: варил джинсы, жарил шашлыки, продавал компьютеры. Он и здесь сколотил небольшой капитал. Купил машину, акции, которые приносили доход, автоответчик. С автоответчиком у Нее отношения не складывались. Он говорил вежливо, но от каждого слова

веяло холодом. «Меня нет дома. Пожалуйста, оставьте необходимую информацию...» Она не знала, так ли необходима Ему Ее информация, ведь это не информация с биржи, не звонок из СП... И Она чаще всего просто опускала трубку, послушав Его голос в автоматическом исполнении. Она прозвала автоответчик Пенчиком. Ей казалось, что этим Она одушевила машину. И как-то мило звучит.

«Каждый должен делать свой маленький бизнес. Если мне будет хорошо, ему — хорошо, тебе — хорошо, то все вокруг наладится».

Он был прав. С этими словами Он уехал отсюда. Продал машину. Отключил автоответчик. Его не стало.

А Она осталась совершенно одна. Она теперь привычно отсчитывала минус восемь часов — время, по которому живет Америка. Что Он сейчас, в эту минуту, делает? Наверное, завтракает? А что ест на завтрак? Скорее всего геркулесовую кашу «Мусли», запивая апельсиновым соком из высокого прозрачного стакана. С кем Он там? Скучает ли по Ней?

Поначалу Она плакала, потом не находила себе места. Стало как-то пусто, руки опускались. Ее родной многомиллионный город стал безлюдным и тихим. Она даже не могла смотреть на машины, потому что они напоминали Ей о Нем. У Него были руки, созданные для руля. И Он очень лихо Ее возил, осторожно притормаживая на поворотах, разгоняясь на пригородных трассах. От Него пахло бензином и французским одеколоном. Потом, когда они расстались, Она думала о том, что это запах счастья. Счастье — всегда только вспышка. А потом — чернота. Но надо как-то выходить из кризиса. Это не модно — любить. Надо учить иностранные языки. Заниматься коммерцией.

Она поделилась с одной своей подругой.

«Нет такого другого? — усмехнулась та. — А ты обратись в советско-японское предприятие «Мечта», закажи двойника. Говорят, они делают роботов на любой вкус. Закажи себе такого же, денег не жалея, они сейчас ничего не стоят — бумажки. Балдей со своим роботом. Потом расскажешь...»

В СП Ее встретили приветливо. Но спросили: «Зачем Вам именно робот? Живого Вы не нашли?» — «Нашла, но Он уехал...» — «Все сейчас уезжают, — вздохнул работник «Мечты», — и правильно делают. Здесь ловить нечего... Какого же Вам надо? Опишите подробно. Вот бумага и ручка.

Деньги вперед... Заказ будет готов через полгода...» Она нахмурилась. «Раньше не сможем, — поймал он этот взгляд. — Типовое производство у нас налажено, а Ваш будет делаться по индивидуальному проекту...»

Она села и стала заполнять бланк. Но какой Он был? Как описать Его? Она начала вспоминать. Записывать в графу: «Цвет глаз... Объем грудной клетки... Мускулатура... Характер... Политические взгляды...» Она приложила фотографии. Он — в детстве. Он с Ней. Он на фирме, во время переговоров...

«Вы его отлично описали, — довольно улыбнулся работник «Мечты». — А то приходят и сами не знают, кого хотят получить. Говорят, к примеру: сделайте мне просто красивую бабу! А как ее сделать? Ведь у каждого свое понятие о красоте. И все-таки... Зачем Вам робот? Он же Вам в копейку влетит. И питаются они у нас только с рынка. Не переносят нитраты, радиацию... К каждому роботу прилагается счетчик Гейгера, индикатор по нитратам. Это, кстати, входит в стоимость заказа...»

«Мой возлюбленный тоже питался только с рынка!» — обрадовалась Она.

«Тогда нет проблем... До встречи. Пожелаю счастья Вам с Вашим новым другом...»

Полгода Она нервничала и ждала. Ходила к косметологу. Бегала на шейпинг. Купила потрясающее нижнее белье. Она была во всеоружии. Вечерами, по совету своей косметички, сидела по два часа в травяной ванне, чтобы от Нее пахло, как от дикорастущего цветка. Только... есть ли обоняние и осязание у этих роботов? Правда, тот, что принимал заказ, пообещал многозначительно: «В сексе они — асы!»

Время летело. Наконец однажды раздался звонок в дверь. Она вздрогнула и пошла открывать. За дверью стоял Ее любимый. Он вернулся. Ему в Америке было скучно. Он приехал за Ней. Вдвоем им будет там веселей. Она бросилась к Нему, и они, как подобает, задохнулись в поцелуе. Он стал еще нежнее. Там, в Америке, женщины другие. Холодные и расчетливые. Бизнес-вумен. А Она — Его женщина. Из ребра. И для Нее главное — Он, Его успехи, Его будущее, Его желания.

Он открыл чемоданы и стал вынимать оттуда подарки — колготки, платья, сапоги. Он говорил как заведенный. О том, как трудно Ему пришлось вначале, но Он все-таки заключил контракт с этим надутым идиотом с Брайтона...

Она накрыла та-акой стол... Он ел вяло, как человек, вернувшийся из сытых мест. Она не ела совсем, а только смотрела на Него. Как меняет Запад человека! Какой Он розовощекий, энергичный, как Он Ее поцеловал... И какое счастье, что Он наконец вернулся! Какая будет у них ночь...

Утром Она накинула привезенный Им халатик.

— Ты торопишься, наверное? — спросила Она, давно привыкшая к бешеному темпу Его жизни.

— Нет, я уже сделал все дела, моя дорогая...

Обращение удивило Ее. Он никогда так не говорил. Он на лету назначал встречи, спешил, опоздывал... И если случались неприятности — во всем была виновата именно Она. Если же все складывалось удачно — Она была как бы ни при чем...

Может быть Он нездоров? Перетрудился? У Него, возможно, нервное истощение. Это, читала Она в гороскопе, свойственно людям, родившимся под знаком Близнецов. И не только это — они еще очень нетерпеливы, эти смелые экспериментаторы в любовных утехах...

Все было так... Они снова упали в постель. Какой восторг — снова оказаться в Его объятьях! Она — лучше всяких американок, француженок, итальянок. Он не уставал говорить Ей об этом...

Вдруг раздался телефонный звонок. Она нехотя потянулась за трубкой.

— Здравствуйте. Это из фирмы «Мечта». Ну, как наш подопечный? Действует? — игриво спросили в трубке.

— Что-что? — переспросила Она. Она терпеть не могла, когда Ее отрывали от любви. Любовь — это процесс, это какое-то другое измерение, и оно не должно пересекаться с обычной жизнью. Это — заповедная область. Ускользящая и загадочная. Жаркая и пленительная. А тут этот гнусный голос...

— Так Вы довольны? — в трубке настаивали на ответе.

Телефон соскользнул с тахты и рухнул на пол. В трубке послышались короткие гудки. Она все поняла...

— Какая ты неловкая, кошечка! — сказал Он чересчур ласково.

— Так это не Ты? — вскрикнула Она. — Это робот? И Ты... то есть он, любит меня за мои деньги?

— Что Ты там болтаешь? — улыбнулся Он улыбкой, которую Она больше всего в Нем любила. — Иди сюда. Представь, мне даже нравится, что Ты говоришь глупости. Они

делают Тебя еще соблазнительнее. Это Я! Я, глупышка... Поцелуй же Меня, и поймешь...

У Нее началась тяжелая жизнь. Он теперь всегда был дома. Никуда не ходил. С друзьями не встречался. Капризничал, как маленький ребенок. Часами лежал на диване и каждую минуту желал Ее. Сумасшедшая страсть, вначале доводившая Ее до исступления, Его безумная нежность и изобретательность перестали Ее радовать и удивлять. Она чувствовала себя уставшей еще и потому, что невзирая на все Ее старания, Он часто чувствовал себя плохо, жаловался на живот и головные боли. Отказывался есть. А где найти такие чистые продукты, которые Ему не навредят? Она не расставалась со счетчиком Гейгера и индикатором по нитратам. И замеры приводили Ее в бешенство. За такие деньги и такая гадость!

В отчаянии после очередных Его желудочных колик Она позвонила одному из старых Приятелей. Тот работал в соседней фирме.

— Рад Тебя слышать... — пробасил Приятель. — Какими судьбами?

— Звоню, чтобы посоветоваться. У меня большие проблемы с питанием нашего общего Друга. Просто не знаю, что с Ним делать. После того, как вернулся из Штатов, почти не переносит нашу пищу.

— Так Он вернулся?! Когда?

— С месяц назад.

— Ах, мерзавец... И не позвонил! А почему Он вернулся-то? Что, у Тебя ноги оказались длинней, чем у Статуи Свободы?

Ей было не до шуток:

— Понимаешь, Он все время как отравленный...

— Фигово... Хорошо, что ты звякнула. Скоро я к вам подрулю! Потолкуем обо всем...

Приятель не заставил себя долго ждать. На следующий день в их квартиру ввалилась целая компания веселых, преуспевающих людей. Ближайших друзей Ее много.

Вечеринка удалась на славу...

Он менялся на глазах. Появился интерес к жизни. И, конечно, к бизнесу. Старые друзья вовлекли Его в какое-то новое предприятие. Совместное. Он купил себе «девятку». Сдал свою квартиру под офис, а сам жил у Нее. Он любил Ее сильнее прежнего. И ощущение радости жизни, похоже, вернулось к ним.



Целыми днями Она Его ждала. Все, что Она теперь делала, было только для Него. Научилась водить машину. Освоила работу на компьютере и факсе. Наводнила дом бытовой техникой. Пока Она отправляла факсы во все точки земного шара, миксер взбивал тесто для хачапури, кухонный комбайн трудился над грязной посудой, а в микроволновой печи жарились цыплята табака. Она закупала продукты на неделю, как принято во всем мире...

Она сменила мебель. Сделала на окнах жалюзи, чтобы по выходным Он мог выспаться. Она заметила, что Он стал избегать света и лучше чувствовал себя в темноте...

— Закрой солнце, — просил Он, — я не хочу его...

— Но почему?

— Мне кажется, будто меня просвечивают...

— Кто?!

— Кто там есть на небе... Бог и ангелы...

— Не надо их бояться, ведь Ты хороший? Они это видят...

— Какой же я хороший? Обманываю Тебя... Но если и обманываю, то только потому, что очень люблю... В мире нет другой такой женщины...

Он Ее и вправду очень любил.

Бизнес все больше затягивал Его. Она уже не могла справиться со звонками, от которых не было отбоя... Пришлось обратиться за помощью к Пенчику. Даже если ты дома, можешь не подходить к телефону, а просто слушать, кто тебе звонит. Если кто-то нужный — снимешь трубку. А если нет — сделаешь вид, что тебя дома нет...

— Ты отсеивай звонки. Подходи только к финнам и американцам, — говорил Он.

Она стала учить английский. Рада была, когда звонили американцы. Как-то раздался звонок, и Она услышала:

— Хэлло! Вчера прибыл из Штатов. Ваш Друг просил передать Вам письмо и небольшой сувенир. Могу я это сделать?

Она остолбенела. И от неожиданности забыла, что нужно ответить. О чем он? Какой Друг?

— Я Вас не понимаю...

— Вы подруга нашего общего Друга? Верно? Он просил передать Вам привет и подарок. Жду Вас сегодня в 20.00 у «Метрополя». О'кей?

Ей стало не по себе. И все-таки... надо съездить!

Она поехала, но опоздала. И, припарковываясь, увидела американца. Он был явно недоволен: Она опоздала на целых десять минут! Сунул Ей сверток, сказал что-то и скрылся в вестибюле гостиницы.

В шурующем белом пакете были лакированные туфли и небольшое письмецо...

«Здравствуй, лапочка! Помнишь ли Ты меня еще? Прошу прощения, что долго молчал. Бизнес затягивает так, что устаю как собака. Тут уж ни до чего... Но Тебя я помню, не сомневаясь. Москва и Ты — это уже навсегда, Нью-Йорк — сумасшедший город, но Тебе бы он понравился. Хотелось бы Тебя пригласить. Надеюсь, это впереди. Только немного разберусь с делами. Я стал таким крутым бизнесменом — Ты бы меня не узнала! «Опель» купил. Живу на Манхэттэне. Хочу иметь свой дом. Это — мечта любого американца. Как Ты там? Замуж еще не вышла? Не делай такой глупости. Семейная жизнь в Империи — полный идиотизм. Посылаю Тебе туфли. Кажется, твой размер. По-моему, красивые. Носи на здоровье. Я дам о себе знать. Может, через месяц-другой сам прибуду. Жди. Целую. Не изменяй там мне. Кругом СПИД! Пока, лапочка. Твой...»

Она почти не владела автомобилем. Только бы доехать. Как учил Ее инструктор: или вперед, или назад, только не мешкать! Бабы потому и создают аварийные ситуации на дорогах, что им не хватает решительности...

Когда Она вернулась, Его, конечно, еще не было. Господи, эти банкеты не имеют конца! А Он, бедный, с утра на ногах. И невозможно вырваться из этого круга: офис, биржа, ужин в ресторане, все новые встречи, переговоры... По будням они вкальвают, по выходным — тоже... Праздники не отмечают...

Она боялась думать о главном. Голова раскалывалась. Она только повторяла: «робот Пенчик, робот Пенчик», точно заигранная пластинка.

Он пришел ночью. И был очень нежен. Эти рестораны дают такой заряд сексуальности...

...Месяц прошел незаметно. Потом еще один, и еще... Она жила словно во сне. Она так любила своего робота Пенчика! Как Он вписался в эту жизнь! И никто ни о чем не догадывается...

Но однажды раздался звонок:

— Детка, здравствуй! Это Я! Я вернулся... Я — в аэро-

порте. Выезжаю. Слушай, сколько давать таксисту? Я еще не ориентируюсь в ваших ценах...

Она была дома одна. Робот Пенчик — на бирже. Очень кстати. Можно выставить одного до того, как другой вернется...

В дверь нетерпеливо позвонили. Господи, Она еще совсем не готова! На крыльях, что ли, Он летел?

В дверях появился Он. Настоящий. Американизированный. Подтянутый. Просто неузнаваемый...

— Лапочка! Даже не верится... — Он поцеловал Ее. — Столько раз представлял себе, как вхожу в твой дом... Жутко скучал! В Штатах сейчас культ семьи, а я — как сын — один. Ты замуж не вышла, надеюсь?

— Нет... — Она не соврала.

— Слава Богу! Догадывался, что Ты умная женщина. Ну, рассказывай, как жила. Терпела? Потерпи еще немного. Скоро отчалим. Поженемся, чтобы Тебя сразу выпустили... Надо бежать. Пока не поздно...

— Но я не могу...

— Ты что, ждешь очередного переворота?

— Нет. Я... не одна...

— Ты что, родила? — Он в ужасе отшатнулся.

— Нет. Но я живу... с Твоим... с одним мужчиной...

— Какого же лешего Ты молчала?! Могла бы раньше сказать! А я... мчался за Тобой! Я зарабатывал бабки, чтобы вытащить тебя из Совка, а Ты тут... И кто же он?!

— Это... это робот Пенчик...

— Слушай, Ты, кажется, тут рехнулась? Ладно, бросай этого... и поехали отсюда!

— Но я не могу. Он меня любит.

— Бред... Да кто он такой? Бизнесмен?

— Теперь уже да...

— А кем был раньше?

— Раньше... просто машиной. Я заказала Его, по индивидуальному проекту... когда сходила с ума от любви к Тебе...

— Сумасшедшая, ну что Ты болтаешь?

— Но это правда! Я заплатила большие деньги. Почти все, что Ты мне оставил...

— На что же ты жила? Неужели устроилась на работу?

— Нет. Он работал на меня.

— Каким же образом?

— Я познакомила Его с Твоими друзьями. Он ведь Твоя

копия. Друзья приняли Его в свой круг, думают, что это Ты и есть...

— На кой же черт Ты его заказала?..

— Я не знала... Я думала — Ты меня бросил! Уехал, и с концами... — Она заплакала.

Ее слезы растрогали Его. И Он стал другим. Ее всегда поражала переменчивость Его настроения. Он мог быть ледяным, холодным, и вдруг становился обволакивающе-ласковым, обаятельным, неотразимым...

— Не плачь, детка... — тихо попросил Он. — Я ведь все-таки вернулся. Я здесь. Я с Тобой. Иди ко мне...

Она приблизилась — от Него теперь пахло счастьем...

— До счастья нам еще далеко, — притушил Он Ее восторги. — Надо решить некоторые проблемы. Оформить бумаги. Зарегистрировать брак. Приватизировать квартиру. Сдать каким-нибудь фирмам. Продать твою тачку. Как, кстати, Твой английский? На первых порах Тебе придется в Америке работать. Потом, если все будет удачно, сможешь сидеть дома. Но без языка Твои акции резко падают. Советую: найми себе преподавателя, с интенсивом, пока будут оформлять все бумаги...

— Ты... говоришь об отъезде, как о решенном деле? Но не все так просто... Куда мы денем робота Пенчика?

— Ну... продадим его, какой-нибудь вдове... Заодно окупим хоть часть затрат...

— Но он ведь не захочет жить с какой-то... вдовой! Он привязан ко мне!

— Ничего! Заставим! Дадим... установку. Он ведь машина? Причем, машина, купленная на мои деньги! Значит, его хозяин, по сути, я, а не Ты! Я и буду решать его судьбу... Кстати, как же это он Тебя любил, интересно знать...

Она покраснела. Его всегда излишне интересовали подробности интимной жизни.

— Додумалась! Любил!.. Может, Ты еще и родить от него собираешься? Маленького робота Пеньковича, в стафилококковом роддоме... Потом отдать его в вонючий детский садик, потом в среднюю школу Пролетарского района, после — в армию, чтобы защищал новые государственные границы, всякие завоевания демократии...

— Замолчи! От него не может быть детей...

— Значит, это страсть без последствий? Тоже неплохо! — зло усмехнулся Он.

— Ты меня не любишь! — вырвалось у Нее.

— Если бы не любил — не приехал бы! Подумай сама — чего я не видел здесь? А Ты меня встречаешь... таким сюрпризом! Я угрохал на Тебя такое количество бабок! Хотел, чтобы Ты ни в чем не нуждалась... А Ты купила на мои же деньги этого... ублюдка!

— Не называй Его так! Он хороший. Может быть, даже лучше... Тебя...

— Ты меня достала! Пенчик! Пенчик...

— Пойми, Он мне помог дожидаться Тебя... Если бы не Он — я бы просто сошла с ума...

Он смотрел на Нее и глаза Его теплели...

— Ладно... Будем считать — Его миссия на этом окончена. Я сам вернулся. Иди же ко мне, глупышка...

...А робот Пенчик, к счастью, задерживался на бирже. Но что будет, когда Он вернется домой? Тот и Этот не должны встретиться! Ни за что!

Снова заработал автоответчик. Американец назначал роботу Пенчику встречу в «Континентале». Затем предполагался срочный выезд на целую ночь и половину следующего дня. Но... вот! Поедет на эту встречу не Пенчик, а Он — Ее любимый! И Ему, и Ей это как нельзя кстати! Их сходством надо умело воспользоваться!

Робот Пенчик появился в одиннадцать. Уставший, но такой милый! Да, они очень похожи внешне — ювелирная работа — но внутренне... Этот, механический, так подходил Ей... Возможно, это просто привычка? Ведь Она прожила с Пенчиком целый год, а Тот в это время был так далеко...

— Дорогая, как приятно возвращаться к Тебе после сумасшедшего дня! Ты, точно, приносишь мне удачу! Мои акции прыгнули вверх. Теперь мы с Тобой — богатые люди! Давай... поедем куда-нибудь? Хочешь, в Скандинавию? Наш спонсор обещал устроить круиз на яхте: Хельсинки — Стокгольм. Хочешь?

— Конечно... Только не знаю, получится ли...

Она хотела сразу же все рассказать, но не смогла. Только не сегодня... Он так устал. На нем лица нет.

— Хочешь есть?

— Я хочу только Тебя...

Любить Ее Он был готов всегда. Каждую минуту... Ей казалось, Он просто питается любовью. И только благодаря Ее любви живет на свете...

Как Ей быть? Как вырваться из этого заколдованного круга?

Утром Она все-таки решилась. Вынимая гренки из тостера, произнесла через силу:

— Знаешь, произошло большое событие. Мой бывший возлюбленный вернулся из Нью-Йорка. Приехал, чтобы... увести меня с собой...

Его лицо стало каменным:

— Но ведь Ты с ним не поедешь? Правда? Мы не расстанемся? Ты ведь любишь меня... Без Тебя я погибну...

— Но почему?

— Я... не могу быть с другими женщинами. Они такие... грубые...

— Откуда же Ты знаешь это? Разве Ты...

— Я не хотел говорить... Я виноват перед Тобой... У меня был один случай... Она работала референтом на выставке. Но... у нас ничего не получилось!

«Значит, и машины грешат... — подумала Она. — Научилась... у людей...» Она не ревновала, нет. Какая может быть ревность к автомату?

— Послушай... Ты очень славный, но Ты... биоробот... Тебя сделали. Я заказала Тебя: составила проект, описала Твою внешность, характер, заплатила большие деньги... Понимаешь?

Он ничего не понимал. Его сконструированного ума на это не хватало.

— Мне что-то нехорошо! Закрой, пожалуйста, шторы. Почему ты подняла жалюзи? Ты же знаешь, я не выношу прямого солнца...

Он так ничего и не понял. Когда Она его не любила — Он глупел на глазах...

Уже уходя на работу, в дверях, Он повернулся к Ней, склонил голову, поцеловал Ее руки:

— Скажи, Ты меня еще любишь немножко? Если нет — я не смогу жить...

Ужасная догадка пронзила Ее. Биоробот питается не какой-либо иной энергией, а всецело Ее любовью. Без Ее любви Он превратится в *ничто*. На его вопрос надо ответить — *да!*

...Настоящий Он вернулся к обеду. Говорил без умолку. Все о делах...

— Здесь все продается за бесценок! Парное мясо на рынке — два доллара! Нигде в Штатах такой дешевизны нет! В Измайлове на вернисаже серебряные столовые приборы можно купить за пятнадцать зеленых! Все туземные пред-

приниматели готовы сотрудничать с тобой, если ты — *оттуда* и возвращаешься *туда*. Заинтересованность в инвестициях — колоссальная. Сейчас, пока в бывшем Союзе не поняли, как надо работать на рынке, без помощи Запада им не прожить. Повязаны! И этим надо умело воспользоваться, если ты — бизнесмен. Да, здесь лафа!..

«Только бы найти Пенчика! Только бы успеть Его предупредить. Пусть где-нибудь задержится. Отсидится. Спрячется...»

Она нашла Пенчика. Предупредила. Можно было возвращаться домой, но не хотелось...

А Он сидел дома и ждал Ее. Время шло. Где только Ее носит! У Нее ведь нет проблем, с которыми сталкиваются простые женщины. Холодильник полон. Шкаф забит шмотками. Он обеспечил Ее всем необходимым. А Она где-то носится! Вместо того, чтобы любить Его, благодарить, что вывезет Ее отсюда...

В дверь позвонили.

На пороге возникли два малоприятных человека вороватого вида. Почему-то в белых халатах. Дурак, что открыл! Нельзя так делать: кругом рэкет, преступность...

— Здравствуйте. Мы из фирмы «Мечта». По вызову.

Черт возьми! Забыл! Он их сам и вызвал под горячую руку...

— Проходите Но работа еще нет. Он — на бирже.

— Чего-чего? А Вы-то кто будете?

— Я... Хозяин дома...

— Ясненько... — подмигнул один.

А второй полез в карман. Стал разглядывать какую-то фотографию, подталкивать второго...

Он в ужасе попятился — они были пьяны...

Человек в белом халате подступил ближе:

— Вот, делай их на свою голову! Поехали! Поехали, говорю! Хватит, отработал свое! Ты хозяйке больше не нужен. Побаловался и будя... Нового, живого она себе нашла, понял?

— Что вы несете?!

— Слушай, он меня напрягает! Дай-ка ему дозу и грузы без разговоров...

...Она открыла дверь своим ключом. Сняла пальто модного горчичного цвета, сапоги-ботфорты. Вошла в комнату. Подняла жалюзи. Да будет свет! Ведь робот Пенчик сегодня не вернется...

...Он подошел сзади. Обнял. Стал гладить Ее волосы.

Она повернулась к нему. Обняла...

— Я просто таю в Твоих объятьях... — сказала Она томно.

— О да! Но... прикрой, пожалуйста, жалюзи... Этот яркий свет! И мы будем любить друг друга...

Она отпрянула:

— Это опять Ты? А где Он? Что Ты тут делаешь?! Ведь я сказала, чтобы Ты не приходил...

— Если Ты меня разлюбишь... я просто не смогу... Я растворюсь...

— Так растворяйся поскорей! Пока Он не вернулся! Он ненавидит Тебя и убьет...

Она выбежала на кухню. И вдруг увидела странную бумажку: «Акт о приемке»...

— Кто здесь был?! — закричала Она громко.

— Не кричи! Мне это противопоказано. Я... встретил на лестнице каких-то санитаров. Они несли на носилках человека... Он был мертв. Но... я не знаю...

— Убирайся! Проваливай отсюда, машина! — заорала Она.

И тогда Она увидела, как Тот, кто был *ничто* без Ее любви, стал таять на глазах, как искусственный лед, пока не растворился в воздухе легким дымком с запахом улетевшего счастья...

---



Сергей ЗУБАРЕВ

### ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ...

когда ко рту подносишь ложку  
иль огород идешь пахать  
чтоб шестьдесят мешков картошки  
своим горбом перетаскать  
в тюрьме, в клозете, на балете  
врагу штыком коля живот  
или мечтая о ракете  
что в сине небо унесет  
и если пьешь ведро агдаму  
и если ляжешь помирать  
и если член пердолит даму  
иль будут яйца отрывать  
япона мать, япона мать  
душа обязана пахать

\* \* \*

дарите женщинам цветы  
все что хотят дарите тоже

не то с душевной пустоты  
они царапают нам рожи

\* \* \*

и лень любиться с нелюбимой  
и лень любимую купить  
и жизнь пройти как будто мимо  
и лень начальника убить

\* \* \*

любая тварь неповторима  
чем спекульнуть порою спец  
любая тварь непоправима  
когда сгребет ее истец

\* \* \*

нет ничего изящней той красы  
когда вдруг из сортира едут танки  
химеры дня нежны как лесбиянки  
и рвут друг друга как цепные псы

когда потоп узнаешь что терять  
во всех киосках квакают лягушки  
шут дарит королеве погремушки  
в освенциме ведут гулять

и есть ли что верней того парада  
когда тебе еще чего-то надо  
на очевидность праха несмотря

шут дарит королеве пол-лягушки  
любовь пройдет

        опять стреляют пушки

стихи горят

        я говорю:

        заря

\* \* \*

ну какое там солнце румяное  
если небо ледышками капает  
и портки на спине прохудились  
и селедка в грудях не урчит

почему ты похож на покойника  
я спросил у прохожего с бочкою,  
а прохожий лукаво не мудрствуя  
беспощадною бочкой махнул

---

Александр РОСЛЯКОВ

### ИГНАТИЧ

Был в моей молодости, как раз той, откуда лучше всего, кто собирался, беречь честь, такой загиб. Я вылетел из строительного института и, не долетя до вокального факультета ГИТИСа, который потом успешно закончил, занялся левым (тогда так называлось) промыслом по перетяжке миллиардных столов.

Все вышло просто: не отсачковав двух семестров по профилю, соблазнившему больше всего ничтожным входным конкурсом, я понял, что для меня это — «типичное не то». А «то» — сидело в том, что я с детства слегка бренчал на гитаре, а, главное, был одержим несносной манией, как выразился один милиционер, пресекавший на улице после одиннадцати мой фигурный свист, «издавать звуки». То бишь, именно свистеть, петь — не во всю глотку, так в нос — где ни попадя: в ванной, на уроке, в транспорте, даже под горячей рукой матери — наверное, так хорошо, что еще вечно с доложением на бис сверх одной порции...

Кстати, теперь, отпев почти червонец на профессиональной сцене, ловлю себя на том, что избавился напрочь от этой несуразной страсти. Да и у нас в театре не помню случая, чтоб кто-то распелся не по заказу, от души, зазря, — хотя мы пользуемся исправным спросом и у нас, и (что важней) в проклятом зарубежье.

Говорю так потому, что для нас, при наших нищенских окладах, этот тароватый зарубеж, единственный канал обогащения, на самом деле прорастает в какое-то проклятье. Все страсти, пораженные канальским интересом, только и кипят вокруг. Стыдно признаться, но мы, как заправские менялы, лучше сведущи в текущем спросе миланской барахолки, чем в достижениях того же недоступного нашим тощим портмоне «Ла Скала». Да что «Ла Скала»! Я порой дивлюсь, как еще ухитряемся достигать чего-то сами, варя в гостиницах, чтобы не издержать ни цента зря, на кипя-

тильниками всякую отраву, на почве чего у половины труппы язва...

Ну, а тогда я пел вздохом, но, как ни странно, не считал, что это легкомысленное, несостоятельное даже против одного милиционера увлечение может действительно служить профессией. И потому, еще имея какой-то вкус к мастеровитости в руках, и ринулся в строители.

Но нестойкий выбор уже в зародыше был подсечен судьбой. Вскорости один обязательный на курсе, как второгодник в классе, переросток затащил меня в бильярдную Парка Горького, где я живо продул ему всю карманную наличность, да и залип сперва на все послеурочные, а затем и урочные часы.

На блатном языке этот длинный, грязно-зеленый с улицы ангар без окон (так и хочется сказать: без дверей, поскольку вход туда, как в мышеловку прост, а выход труден) назывался Академией. Внутри имелись три ряда в разной степени разбитых злостной денежной игрой столов, и царила атмосфера гулкой замкнутости с табачным дымом и людской разноголосицей, переходящей местами из выяснительных нескладниц в разрывную брань.

Блатной язык вообще остер, зауженный, как сам сугубый мир его носителей, донельзя. Особенно ж горазд до тех явлений и издержек естества, перед которыми стыдливо тупится дар общепроезжей речи, тут самая его обочина! Мог сочинить такое прозвище — кликуху — что не оттереть песком. И впрямь: все эти *крысы, мыльницы, задроченные, холодильники, вампиры, партизаны*, — аферисты и жучки, с которыми я постепенно перезнался, были настолько вылитыми, даже сказать, влитыми в слово, будто не только оно подбиралось под типаж, но и тот уже остаток жизни работал встречно, на довоплощение образа.

Можно было незнающего с улицы послать за тем же старцем Партизаном, и он без труда б угадал из кучи обитателей шибко потертого на мелкоколье трехрублевых игр папашу с двурушной, искоса, оглядкой жертвы и разбойника одновременно, рыщущего в поиске легких партнеров — «фраеров», своей особой, партизанской сапой. Или его ровесник Пионер — шибзик с треугольным алым носом, снабжавшим пенсионное обличье глупостью какого-то неовзрослевшего младенца, перед которым всяк мнил себя чертом и думал, что проглотить легко — его заманка под захожих простофиль...

Про Пионера существовала легенда, каких вообще по Академии, как полагается, ходило множество. Шел еще тех, довоенных, незапамятных лет пионеротряд на какой-то свой слет или макулатурный сбор, под барабан и дудку; один малец, не удержась, свернул пописать — да так и остался до седых волос с кликухой и всегда готовым, чуть не в лапу дело, недержаньем пузыря.

Конечно, в этом мифотворчестве, идущем от жульнической необходимости скрываться, как от улики, от своего действительного под кликухой, всякой липовой и мнимой образностью, — и с прокурором не расплести б, что ложь, что выдумка. Но каков оракул языка, провидевший еще когда, что явятся и минут войны, культы, оттепели, съезды и разъезды, — и только жизнь спустя, к шестидесяти, шнобель бродяги достигнет выдающегося сходства с пионерским галстуком!

И саркастическое званье Академии, с пояснительной добавкой для невежд: «Чего?»— «Наук!» — этот притон светил и темнил лихой игры носил не зря. Водились там игроки-исполнители такой руки, что не будь тогда их искусство в криминале, наверняка достигли бы самых радужных признаний и орбит. А вынуждены были гробить руку нарочитым, для кривых побед, занижением планки в своем замкнутом кругу, только, увы, и способным оценить их рейтинги по классу.

Первой, единственной и неповторимой звездой круга был Левон, симпатичный армянистый толстячок с горячей кровью своих диких и давно забытых гор. Единственный уже тем, что восхищение блатных его игрой присвоило ему, как исключительную честь, право ношения взамен кликухи собственного имени. И миф его, хоть и в таком продувном деле, как игра, был натуральный миф, не вымороченный, продукт не темных вымыслов, а чистого искусства. Он даже мало с кем играл обеими руками и кием, поскольку мало кто мог с ним так тягаться на любых, самых громадных форах. Чаще одной, тычком, или двумя, но каким-нибудь неприспособленным предметом типа длинной ручки швабры или одолженной у старика мазильщика клюки...

Но если стравливался с Генкой Крысой, первым жадиной и аферюгой биллиардной, по тысяче, по тем деньгам, за партию, на «лобовой» форе — в противоположность «дармовой», когда успех еще до игры предрешен в ту или иную сторону, — ради такого зрелища, не уступавшего красотой и ри-

ском цирковому, бросала свою пионерщину и партизанщину и собиралась у центрального, самого лучшего стола вся Академия.

В первом ряду, на специально зафрахтованных стульях, руки на клюках, подбородки сверху — эти самые мазильщики, кто не играют сами, только держат ставки — «мазы» — в тотализаторе на победителя. Самый ушлый люд, состарившийся в бильiardных, почти безошибочный в прогнозах, — хоть и нередко за счет левого сговора и играющими. За их спинами и вокруг — мажущие; шире — просто бескорыстные болельщики...

Большинство, конечно, хоть ставят наугад — кто как, болеет за Левона. Тонкогубый очкарик Крыса играет без эмоций, пронзая, как герметичная крылатая боемашина, в которой за отвратительным и агрессивным внешним телом не видать живого обитателя, как фронт ненастья, ненависть толпы. Ее поносные карканья под руку — для него как дождевой горох в броню, он видит только цель, которую разорвет, если угодит, и сам протяжный удар его кия похож на спуск гашетки.

Левон, который и поносит его громче всех, — обратная картина. В нем бездна темперамента и пластики, позволяющей ему без помощи специального удлинителя — «машинки» — доставать с обеих рук, не глядя на брюшко, такие шары, что не с руки длиннейшему на голову Крысе. Стрasti, в зависимости от удачи, скачут в нем по всей шкале: от детского, неведомого скаредной и скрытной массе, победоносного восторга, до лютой ярости, которой Генка и добивался нарочно до игры почти заведомо бесплодным торгом за надбавку к форе.

Их поединок — символический. Непопулярный даже среди мало щепетильной местной конторы Крыса, конечно, ас холодного расчета и бомбит, умея угадать в другом невидимую тому самому слабину, всю Академию — за исключением Левона. Левон, напротив, как всякий великий мастер, чуть всегда профан, творит игру по-фраерски самозабвенно. Не работает по-генкиному прижимисто над шаром, а то и дело рискует, «бросается» на самый сумасшедший шанс, предпочитая стратегическим шаблонам живую нитку вдохновения, которая, кажется, за пять-шесть часов, сколько обычно длится схватка из десятка-полутора партий, должна лопнуть от перенапряжения, — но именно на пятом-шестом ча-

су Левон и давит Крысу. Фантастически, случайно, серией немыслимых, исходно обреченных на провал или легенду подач, и совершается легенда!

Но алгебраичный Генка, при всей своей крысиной сметке, не сдастся и лезет опять и опять упрямой яичницей на божий дар, видя в нем своими застекленными зрачками только слепой и, значит, в конце концов, победимый силой низкого расчета случай. И хоть раз на раз не приходилось, по редкой в мире справедливости в конечном плюсе был всегда Левон.

Хотя он-то как раз меньше всего сражался ради денег, принимавших при расчете в его пухлых, заводных ручках вид каких-то подсобных участников, фишек в самоценном игровом процессе. Крупный куш, необходимый ему для наступления азарта, вообще, как учила практика, не самый верный. «Куручка клюет по зернышку!» — любил назидательно приговаривать Мыльница, академик не кушевой, но «хлебной», дармовой желательно, игры, умевший как никто сходиться с лопухами, числясь при этом в первой пятерке киев Академии. И пока Левон, захватывая общий дух, балансировал своим отчаянным кушем, как эквилибрист на проволоке, по центру зала, — где-то в сторонке, на дрянном столе, по зернышку червонца, в крайнем случае четвертака, ковал свою не видную, но однозначную всегда победу. Это не значило, что его жадность была умеренной; она у всех там была неумеренной; просто Мыльница, что называется, «боялся куша», — его цепкие створки, аккуратно обсасывавшие жертву до исчезновения всяких признаков мяса, способны были действовать на уровне не выше, скажем, полусотенной. Над пропастью ж за сто и круче внутренний мускул, заменявший сразу совесть, честь и душу, парализовался и самого его делал дармовым.

Левон горел как раз в обратном плане. Мог в многочисловом виртуозном бою нажить кучу денег — и тут же, не в силах унять запал, продуть какому-нибудь недоделку в глупую «железку» — игра наподобие «очка», в угадку номеров дензнаков. За что все эти окружавшие мелочные хищники презрительно именовали его за глаза бараном и животным. Но они же ловко убирали его на окаянный номер, когда Левон, не способный долго существовать, как рыба без воды вне игры, западал, за наименьшем стоящей, на бесценок, где его мускул сдавал начисто. И тогда расклеывали (на сумасшедшей форе, разумеется), как ффраера, по зернышку.

Я сам был свидетелем такого исторического случая: вот так, вполпустую, дурачась с кем-то, с Пионером, кажется, Левон, чтобы развести грошовую тоску, примазал тысячью против рубля на верный шар — и проиграл! Нет, не промазал; старый шар, как бывает только раз в сто лет, разлетелся вдребезги от страшного клопшотса, и только меньшая часть дребезгов влетела в лузу, — не считается! Но при всем нелицемерном сквернословии, состряшем тотчас своды, как-то чувствовалось, что его величию или тщеславию, как угодно, дороже было отдать эту историческую тысячу, чем получить тот плевый рубль.

Роль пропасти исполнял в Академии Мишка Чума, отъемщик. В кругу людей, чье ремесло — обман, не стесненный изнутри ничем, бывает выиграть — только полдела, надо еще выигрыш получить. Иные, точнее, с иными, для избежания таких проблем, играли сразу — деньги в лузу. Но это не всегда с руки, и большинство, хоть с приговоркой: «Как в азовском банке: не пропадет и хрен получишь!» — прибегало к цивилизованному кредиту. И когда наступала «азовская» ситуация, и не помогало включение «счетчика», звали отъемщика. И тот за часть искомой суммы выбивал ее, буквально, из неисправного должника.

Я этого бойца за принудительную добросовестность, заметного своей пружинистой, чуть обезьяней грацией, с разболтанными, слегка удлиненными услужливо руками, никогда не видел в действии. Только слышал, как он, вечно свободный от своих эпизодических трудов, отвечал по телефону в Академии: «Кто это? Это я, Мишка Чума! Кого, Вампира? Вампир, тебя!» Но те, кто видели, говорили, что кулак у Чумы молниеносный, и хоть знал он наверняка один единственный удар — в рог — это был такой верняк, против которого не годились никакие ни боксеры, ни дзюдоисты, — тоже свой гений и легенда Академии. Конечно, и тут мрак правды уходил на дно специфики, но косвенным подтверждением его, перевернутого айсбергом, искусства служил он сам, и факт того, что в долг, коль скоро таковой достигал способной заинтересовать его величины, в Академии верили.

Еще болтали, что у Чумы в мышце был какой-то особый дар доходчивости, заставлявший платить по его векселям и неимущих тоже. Но для меня дольшей загадкой оставался как раз не этот случай. Несостоятельность имела на выбор два относительно простых пути. Либо запряхься на месяц,



два в унижительную для аса, на виду всей бильярдной, чистку фраеров, наверстывая должное «по зернышку». Либо одним махом взять, что называлось, табачный ларек: угроза неба в клетку считалась все же предпочтительней беспросветной «чахотки» от Чумы. Но такие вещи случались в Академии скорей в порядке исключения, нежели правила. Обычно ж игроки играли с игроками, никаких ларьков не грабили, а между тем лихие суммы в кровеносной, а лучше сказать, кровососной системе циркулировали. Но откуда?

Однако со временем, путем пытливых тамошних топтаний я, кажется, уличил сквозь нарочитый внешний хаос какие-то основополагающие закономерности системы. В самом низшем, капиллярно разветвленном основании ее трудились мелкие букашки типа Партизана с Пюнером. Эти по-старательски упорно пропускали через свои отработанные сита небогатенную породу фраеров — ведущее податное словие, исток наживы. Главной технической задачей на этом уровне было не дать «соскочить» фраеру после проигрыша первой трешки, изображая фокус ловкого отъема делом опрометчивого случая, который если прет сейчас сюда, так следом непременно переулыбнется на другую сторону.

Успехом при этом пользовалась, например, инсценировка с «идушим в долю». Когда во фраере уже готова иссякнуть вера в его фраерскую звезду, кто-то из вечно трущихся у столов — он и есть «долист» — подкатывает с честной рожей знатока, широко развитой еще у политических телекомментаторов, и «поет» олуху о явных преимуществах его дурной игры, которая если пока не побеждает, то наверняка победит вот-вот. И, чтобы добить сомнение, просит — верная корысть! — принять в долю, то есть включить в ставку его деньги, и сует их. Фраер на то и фраер, что неизличимо болел самоанием и хочет даром оторвать то, что во всякой, и самой левой сфере тоже, достойные неизбежного искусства. И, подкрепленный лицемерием такого симпатичного жучка, чья бескорыстная идеология подтверждена живой корыстью в доле, «замазывается» еще прочней. Тем более, теперь вместе с его летят и чужие деньги, перед которыми он уже чувствует какую-то моральную ответственность, взборяемую щедрой похвалой, переходящей своевременно в угрозы с требованием отыгрываться до конца, то есть до полного опустошения кармана. После чего бедняге только остается жалко драпать от стола с фальшивыми проклятиями в спину — поскольку все переданное через фраерские руки тотчас воз-

вращается жучку с какой-то частью, обычно половинной, добычи исполнителя, к которому он на самом деле и шел в долю.

От пчелиной партизанщины, ссасывавшей по капле в горстку с неумех, выигрыш шел в проигрыш трутням более высокого игрового разряда — момент очередной системной аномалии. С фраером ясно: он уж так создан, чтоб жрать идеологический крючок, только оплюй жальце посмачней и погуще. Но сами крючкотворы, твари низкие и ушлые, — что их тянуло к состязанью ввысь? Ведь закон игры, фундаментальный в отрасли, доподлинно известен: выигрывает дающий фору. То есть, в отдельных случаях возможно все — Пионер может, изловчась, надрать Левона, но в целом денежный ток идет по восходящей, вершина живет за счет основания, а не наоборот. И все ж какое-то неодолимое влечение к афере несло едва поднасосавшуюся мелочь на крупняк, на те же в точности, что наживляли сами, жала и крючки. Разве только сама наживка тут была иного сорта и мастерства симуляции: лютное похмелье, припадок ишемической болезни, перелом в натуральном гипсе, который мог невзначай и колонуться при расчете...

Я слышал, например, такую былль про одного известного в Академии гастролера. Фартовый южный городишко, и есть точная наводка, что король местной *академии* (пишется с маленькой, только центральная, при парке Горького, как город Рим — с большой), игрок мыльничной породы, в крупном выигрыше. А поскольку известность в сем неблагодарном промысле прямо противопоказана его успеху, а гость имеет несчастье пользоваться ей в самых широких академических пределах, нет ни малейшей надежды свестись с сыгым впрок и надолго крохобором никаким обычным (хромота, гипс, приступ падучей) образом.

Тогда гость прикупает на толчке у местного базара старый треух, лепит бороду, берет оптом сумку помидоров и раскладывается со всем этим маскарадом за прилавком. Торгует на полтинник дорожке базара, чтоб не раскупали, пока не набредет кто-то из туземных игроков — и ему спускает на двугривенный дешевле. При этом сам базарит всю, исподволь наводит речь на игру, хвастает, что после войны в Доме Железнодорожников всех на миллиарде драл и сейчас любого задерет — не веришь? Только дай доторговать, а денег у него тогда будет много.

Конечно, получает приглашение, десять раз, по бестолочности, переспрашивает дорогу, которую нашел бы и вслепую, задом, ночью, — и на другой день, естественно, находит. Машет трюхом, под которым колтун, какого свет не видывал, базарному знакомцу, видно, уж под мухой: продал все помидоры, еще купил старухе племенного петуха! Достает из сумки напоказ, петух удирает, вся академия кии бросает, ловит петуха, а тот мыльный король, хоть и сытый впрок, против такого дармового идиота устоять не может — и очищает стол. Но гость: нет! Я пока за встречу всех не угощу, играть не стану. Распотрошает узелок с деньгами, а там их — ком, отначивает что надо и шлет местного метеора в магазин. Только я казенного не пью, у меня своя, шестьдесят градусов, крепленая, — вытаскивает пузырек с тряпичной затычкой с какой-то мутной жижей внутри — просто подмутненная вода: кто хочет? Разумеется, никто. Тогда сам отбулькивает хорошо, рыгает, крикает: ну, я готов! — и берет кий не с того конца...

А через пару часов готов, весь в ошарашенном поту, как конь, и местный игрок. Гость же в сопровождении двух откуда-то взявшихся лобастых корешей покидает академию, даря ей на память племенного петуха...

Со средних жил денежная масса транспортировалась в аорту высшей лиги — всего несколько человек, получавших с Левона минимальную, чисто академическую фору. И выше — только сам чернявый бог игры Левон, который не пил, не увлекался «волынкой» (все касательное до женской части), держал вечную форму и, логикой системы, должен был бы стать ее конечным Крезом, Рокфеллером, Онасисом. Но его гений, не корыстный в сущности, страдал, как сердце, сквозным пороком: и... сквозь «железку», карты, все, поднятое вверх, за вычетом каких-то отложений в чулок на черный день и трат на день насущный, спускалось назад для дальнейшей циркуляции...

Но замкнутые системы, как известно, долго не живут, слишком накопительны для собственных же ядов. И здесь вся эта круговая нечисть даром не прошла, ударила вовнутрь, в свое же рыцарское сердце, и, поразив его, решила участь Академии. Так, во всяком случае, мне хочется считать, пусть для других она закрылась позже директивой Моссовета.

Уже несправедливо и несистемно было то, что самый обильный отток уходил без возврата в гнилой желудочек

мазильщиков, фальшивых трясунов, которые не утруждались, не играли сами, даже в низкопробной роли *партизанов* и их налапников, даже в чрезвычайной роли *чумы*. А держали банк на левой мазе, ссужали игроков под бешеный процент и, был треп еще, подстукивали по совместительству. От руки одного из них, бывшего днепронепетровского маркера Лазика, и пал Левон: пропасть заурядной людской подлости оказалась шире той, игровой, над которой он мнил себя и был неуязвимым.

Зачем он вообще с ними связывался? Ясно зачем: из вечной слабины тщеславия, которую они, кормившиеся впрямь и вкось с его стола, умели греть в звезде, раздувая вокруг дополнительный ажиотаж — как будто мало ему было своей подлинной, не дутой славы! Кичась по-своему той подлинностью, он никогда не играл налево. Они ж и единственную, может, на всю Академию честь поработили в пользу своему бесчестию: он им и делал тот ореол мнимой достоверности, без которого б сглох на корню весь липовый тотализатор.

А спекся так... Лазик прознал, что Левон, снимавший где-то угол при фиктивном браке, вступил, не без потачки популярности, за взятку в жилищный кооператив. И уломал за лъстивую монету снести от него башли тоже. Банду торговцев жильем накрыли, вышли на Левона. Левон не раскололся, тогда вышли на Лазика, наперли тем, что доносчик по закону выгораживается от наказания, и Лазик заложил Левона. Левону дали полную катушку — именно за благородство к паразиту, с которого он не имел ни гроша!

Лазик на время скрылся; вся Академия сплотилась редкой солидарностью негодованья, кто-то распускал упрямый слух, что Лазик сам подписал себе приговор, считали дни до исполнения — да так и сбились со счета... Потом эдаким бочком, мразью вполз обратно Лазик. Кто-то что-то сказал ему или хотел сказать; вспомнили про стукаческие дела, что сам бесстрашный против боксеров и дзюдоистов Чума никогда не принимал заказов на мазильщиков, все и заглохло, и пошло по-старому: игроки играли с игроками, Пионер с Партизаном ловили и чесали фраеров, налапники шли в долю...

Уроки Академии, которые я прежде поглощал с жадностью, находя в них какой-то дерзкий концентрат, символику

всей жизни, без Левона сбросили всю свою прелесть, оскучили. Он был их оправдательным лицом, осталась одна пошлая изнанка. Однообразное торчанье у столов уже не окупалось непременно лакомством его игры, в которой я готов был участвовать до бесконечности всей праздной страстью. Я уже знал все, что может Мыльница, что Крыса, что Вампир. Но их часто коммерческие битвы не содержали того захватывающего, генерального интереса, который выходил за рамки вразумительной корысти, огульно заряжая в свою долю всех...

Я продолжал ходить в Академию, но уже больше по инерции, чтобы убить пустое, с окончательным забвением учебы, время; выиграть, если повезет, трешник-другой. Кием я уже владел где-то на уровне Партизана, уступая, конечно, в гигантском опыте по части всяких «поганок»: пропихнуть неходячий шар, незаметно свалить локтем в лузу. Все это считалось незазорным в несправедном изначально деле: бди! заезванное — в пользу жулика. Но в записные игроки я не лез. Не то чтоб из страха пропасти, всех этих низких штук, которые, как понимал, и должны, как всюду, уснащать пути к вершинам. Сами вершины, цели риска, которым уж если отдаваться, так сполна (всякое искусство, академический пример учил, не терпит, как любовный акт, пол-силы) — как-то не довлекали до полной отдачи им. А после общего предательства Левона и зрителем быть интересно перестало. Вот тут-то я и сошелся с Пашкой, щуплым хануриком без кликухи и отчества.

Его специальность, единственная созидательная в лихоборском стане, состояла в настройке луз и латке зеленого сукна на тех разбитых столах. И к ней всякая побочная, вне Академии халтура в промежутках от халтуры основной. Если суперзвезда Левон освоил себе право прямого имени своим слишком высоким, хоть и оборвавшимся трагически полетом, то Пашка, мелкий шкет, щенок до старости, вдобавок замаранный, по перевернутым понятиям среды, каким ни есть трудом, — витал где-то еще ниже уровня кликухи, и чувствовал себя там превосходно. В нем точно от самой природы была вбита какая-то заведомая заданность на вторую роль, благодаря чему любой другой при нем, именно не в свою, а в его отрицательную силу, мгновенно становился первым. Он, как грамматический оборот, требовал страдательного залога, и все попытки иного, как ни бейся, вели только к насилию и ломке самой речи. Такой тип — по соб-

ственному, не лишенному своей любовной нотки оговору: «череп неправильный».

И так, с какой-то бесшабашной безнадегой в жалком взоре, он попросил меня однажды, видно вычуяв своим собачьим нюхом сходно неуверенную душу, подсобить слегка по его части. И когда я, готовый, что называется, со скуки на все руки, не только ловко подсобил, но и не затребовал законной в жлобском мире mzды, сам с благодарностью слетал за «красненьким». И, не успев даже закосеть как следует, предложил мне на всю оставшуюся жизнь сотрудничество «в пополаме». Что при его инструменте и клиентуре и моем незнании дела показалось мне просто грабительской против него аферой — слишком выгодной, чтобы отказаться, для меня. Потом, правда, узнав и мастерство и самого мастера поближе, я понял, что тут он как раз не прогадывал ничуть, даже напротив, — приглашая на роль второго, то есть для него автоматически «бугра», такого небугрового и чуждого академической закваски пацана, как я.

Хотя профессия его и была, по тем временам, довольно прибыльной: обычно сотни полторы за стол; трудов, если не сильно гнать, дня на три, с дополнительной возможностью наживы на сукне и прочей прибуде, — Пашка ухитрялся оставаться самым нищим человеком в Академии. Метеор на своем промысле, уборщица тетя Катя на стакане и пустой посуде жили состоятельней и зарились на него со своих невесть каких кочковий свысока... Вся обширная наука Академии, где он был ветераном, не пошла ему, как вечному студенту-тупице, впрок; не только не прибавила мозгов, но слизала окончательно и те, что были, если были.

С самой работой еще куда ни шло: за четверть века наловчился кое-как тянуть сукно на одну и ту же стандартную фигуру. Хотя и тут, уж наловчившись однажды, даже невпопад, тянул просчет из раза в раз с какой-то суеверной застрашенностью шаблону, менять в котором что-то было для него свыше сил. Видно, от своих же учителей он перенял, как неизбежный чин обряда, и тягу к жульничеству; но и жулил, как работал, тупо, без каких-то артистических затей, с тупой — «башка неправильная!» — покорностью разоблачению. Сопрет кусок сукна так, что слепому видно, и ждет, пока схватят за руку, еще отнимут вдвое своего. Но без этого уже не мог, как без обязательного радостного «красненького» после трудов.

Но дальше, как до денег дело, полный швах. И грянет чудо: щедрый босс заплатит от души, нарочно даст, в опеку промысла, слямзить тот будоражащий душонку курс, — нарежется этим фатальным «красненьким» и в тот же день проиграет все дотла, еще и инструмент впридачу. Но чаще в каком-нибудь учреждении не составит сразу бумагу, или не так составит, или даже так, но рожа такова, что просит наказать, и ходит потом, канючит:

— Чё это, ребята, делали, старались, надо заплатить...

— Без главного не можем. А он — в отпуске (в тюрьме, на сносях, не в духе)...

— Так это, делали на совесть, ну...

— Ты что, дурак, или так родом? Сказано тебе по-русски, кажется! Пшел вон!

И он, по-русски, вон; и завтра — с той же песней, и послезавтра, и на сороковой день, пока наконец у тех не лопнет могильное терпение и не кинут, как псу, причитающееся в пасть. И тогда он, как именинник, радуется воровато, как будто не свои чахоткой выкрутил, а чьи-то отнял лихо:

— Ты чё, крутые тетки! Думал — всё, с концом!

Идет — и пропивает.

И потому такой, как я, был для такого олуха, как он, просто находкой. За то, что я его стабилизировал хоть как-то, брал на себя непосильную для его дряблого косноязычия бомбежку бухгалтерий, при этом не лез, как на моем месте наверняка б всякий другой «академист», в его дырявый и без того карман, — он был готов чуть не вовсе избавить меня от доли в трудах, — но не в «красненьком». Но я, вопреки его собачьей признательности, честно старался строить наш союз наоборот.

И вот, как-то спозаранку он, принципиально не способный мыслить впрок, разбил мой сладкий сон своим неизлечимым телефонным:

— Кто это?

— Я, Паша.

— Что стрялось?

— Тут это, есть работка, можешь?

— Ну...

— Ехать надо, за город. Мужик отличный, не обидит. Там и пожрать всегда, я уже был, за выходные сделаем.

— Вчера не мог сказать?

— Сам, это, забыл... Череп неправильный!

— Скажи уж, что квасил...

— Ну, маленько, чё...

— Ладно, зубы дай почищу.

— Ты, это, не чисти, ехай сразу в Академию. Он уже звонил, мужик крутой...

— Кто хоть?

— Игнатич!

Он так сказал — как душу выпил! Что еще за дармоед? Не под кликухой, не под фамилией, а под отчеством, — что-то новое! Одно доподлинно: раз частник, значит, жулик, значит, живые деньги, возможно даже в натуральном выражении, в зависимости от того, где ворует. Допустим, ничего, если б в одежде, — думал я дорогой, не слишком, по совести, заботясь, насколько это простительно по юношеской снисходительной статье. Академия тогда еще служила пестрой выставкой последних мод, и Мыльница как раз оторвал фасонистые сапоги с металлическим рантом по мыску, — такие только входили в моду и были для меня, нечего скрывать, предметом самых актуальных грез...

Но у Академии меня стерег уезженный жигуль самой дешевой первой марки, — жулье в таких не ездит. Или что-то совсем не настоящее, или уж такой налим, по усы в грязь укрытый! В Академии, куда стаскивались тогда темные людишки отовсюду, существовал этот парадокс: чем ни здоровше позитив в чулке, тем сам чулок задрипанней... Пашка уж торчал на заднем сиденьи жигуля, подавал мне оттуда позывные знаки. Я влез к нему; передних было двое: один, за рулем, — сразу видно, шестерка, пашкина чета; другой — сам пескарь, с тяжелой, крепкой мордой, налитой и плотной, как початок, в новехонькой листе дорогостоящего, со стальным отливом, пиджака. Он тотчас жестом грузной лапы дал команду ехать и потянул лапу, глубоко вмяв спину своего сиденья, назад, ко мне, веско подтвердив:

— Игнатич.

Я сунул в нее, как в щель пропускного турникета мелкую монетку, свою руку. Замок пожатья как бы говорил: суйся сюда и больше не тужи ни о чем на свете. Но я и так ни о чем больно не тужил.

— Студент, Пашка сказал? Строитель? У меня был один прораб, прохвост! Пойдет мерить: туда — семь, обратно — восемь; а метр — один. Небось такой же двоечник?

Но я с несолидностью мальчика разбил сразу иллюзию, сказав, что больше не студент и не строитель.



— Вольный художник, значит?

— Ты чё, Игнатич, — Пашка при всем подобострастии не знал слова «вы». — Он поет как, знаешь? Прямо артист!

— Петь это вы все артисты! Ну и что ты можешь?

Я, наплевав на скромность перед его общительным нахальством, коротко ответил:

— Всё!

— Что, и сбавать?

— Здесь?

— А где ж? В Большом театре это и мы с Семеном спляшем! — он кивнул на отзывчиво заржавшего водителя, тем заодно и представив его. Пашка, гад, тоже подхихикнул.

— Да нет, я могу. У вас не треснет в ухе?

Шофер заржал еще арапистей:

— У Игнатича! Пожалуй! Треснет! Что не встанешь!

— Ну, пожалуйста. Ария...

— Арию не надо. Ты что-нибудь попроще, нашенское. Мы... — Игнатич корпусным движеньем приобщил и низших спутников. — ...народ простой.

Я захлебнул пошире воздуха и грянул во всю глотку, на какую был горазд:

— Чер-ный во-рон!..

Водитель из машины сбоку обалдело вытаращился на нас, Семен даже бросил на миг руль — зажать уши, Пашка их зажал сразу. Игнатич не поморщился. Потом (я не стал их мучить большим, чем полкуплета) протянул лапу Семену:

— Дай спичку, — ковырнул в тяжелом ухе и подвел черту одобрительно: — Прохвост! Натуральный! Ладно, забаваете путем — будет вам премия.

Пашка от счастья был на седьмом небе.

— Слышишь... — зауважал меня после игнатичева «прохвоста» и Семен. — А я хотел спросить, сколько Кобзон гребет? У нас мужики говорили, бабки только так делает!

Но мне нечем было утолить его странно возникший интерес, и самого больше сейчас интересовали не эстрадные куши, а сколько и на чем гребет наш мощный вождь, что так охотно рассыпаются перед ним эти двое. Но встречный иск, по какой-то необъяснимой очевидности, был немислим.

Мы ж между тем выехали на улицу Горького, откуда неожиданно свернули в переулок перед Елисеевским, с него — в загроможденный тарой тупичок, где багажником к око-

ванной железом подвальной двери уже стояла белоснежная, последней марки «Волга». Игнатич кивком осадил Семена, вылез один; сиденье, изнасилованное тяжелой тушей, жалобно всхлипнуло. Семен качнул его скорей с восхищением, чем с состраданьем:

— Во раздолбал! А менял только!

Подвальная дверь, куда ушел Игнатич, раскрылась, и нашей шестерочной команды прибыло: новый холуй пер неподъемную картонную коробку к «Волге», и Семен вылез к нему, как к старому знакомцу, на подмогу.

— Понял?! — мой Пашка весь светился причастностью к какой-то такой тайне, что не описать пером, да и описывать нельзя. Я ничего не понял.

— Так кто он такой?

— Кто? Игнатич? Тут поменьше спрашивай!

Вот эта складка всех блатных и приблатненных — превращать на ровном месте любой толк в бестолочь! Однажды на этой почве я даже крепко, помимо всякой воли, разобидел Пашку. Раз мы с ним в доле, Пашка — «мой», а я — «его»; я мог спросить в Академии: «Где мой?» и дояснять не надо, — уже мы и не должны крыться друг от дружки, — таков закон. Делаем с ним как-то *академию* в Высшей партийной школе; Холодильник, коммунист, навел; а я вечером намылился в консерваторию, как сейчас помню, приезжал на гастроли Маурицио Поллини, мой любимый исполнитель Шопена, — и входные обещали. Отпрашиваюсь у Пашки; а там еще терлись эти партийцы, их хлебом не корми, дай поучить, полясничать, — и все, как есть, публично объявляю. «Гастроли», «исполнитель», — это ему ясно, только кликуха странная и место, — но глазом не сморгнул, все прокивал как надо. Я вовремя переоделся, попрощались, выхожу, он следом: «Ну, ты куда?» Я чуть припешил: вроде подробно объяснились. «Я ж тебе сказал — в консерваторию». «Чё, дуру не гони, кто слышит?» Я говорю: «Паша, вот те крест! Мужик играет классно — не в шары, а на пианино, — и пальцами ему показываю, — хочу послушать». — «Пианину?» — «Ну, не пианино там, а рояль, не веришь — пошли вместе!» — «Я чё, упал? Сказать не можешь?» Смотрю — надулся, конец света! Ладно б, сказал я: футбол, пьянка, бабы, — пусть не про него, хоть дело ясное! Но я ж вижу в его свербящих глазках — не припадочный же я пилить на эту чокнутую «пианину»! Так, на обидной ноте, и расстались, насилу на другой день размочили «крас-

еньким». И я теперь даже подумал: темнит со мной за прежнее?

Но не успел нажать на него покрепче, вышел сам Игнатич, слегка разочаровав меня порожняком рук: я-то надеялся — тоже что-то сцепит; зато за ним — опять тот несун, на сей раз с большим длинным свертком, с конца которого торчал величины непомерной рыбий хвост. Я еще подумал: что за гурман-гигантоман, мало ему обычной нашей замороженной витринной дряни! И когда Семен сел, Игнатич плюхнулся с визгом пружин, а хвост все еще искал и не находил притык в багажнике «Волги», — даже сострил с кивком туда:

— Акула социализма!

Но по особому ржанию спутников уловил, что, кажется, попал пальцем снова в какую-то загадку сложных, недоступных рядовому пониманию небес.

За кольцевой мы нырнули на пустынное, но хорошо заасфальтированное шоссе вдоль мощного водоснабдительного канала, со вздутыми узлами перекачки, и оголившего, видимо, окрестности от людского духа. Периодические повороты в никуда были застрашены где «кирпичами», где шлагбаумами. И вся эта безлюдная запретность придавала пейзажу выражение какой-то военнизированной девственности, и рвали ее, за плечами титана, мы — еще не сделавшие ничего, но словно бы уже повязанные каким-то общим криминалом. Игнатич остановил машину помочиться, и пока буровил землю в сторону канала с двойной мощностью (Пашки, выскочившего следом явно больше от позыва угождения, чем охоты, было и не слышно), — я не утерпел спросить:

— Куда мы едем?

И хоть вопрос по сути был неопределен, Семен с усмешкой понимающего ответил:

— В страну чудес!

И в эту же секунду нас миновала та самая, от Елисея, «Волга», я узнал водителя, — и рожа ближнего усугубила на мое недоуменье радостный, невесть с чего, оскал.

Наконец мы свернули на очередной «кирпич»; через прореху в перелеске взблеснула несметная гладь водохранилища, асфальт привел к поселку, и Игнатич объявил:

— Приехали! Деревня Ковыряловка!

— Что, так прямо на карте?

— На карте ее нет.

Чем сразу отмечалась Ковыряловка — необычайной силой глухих заборов, которые здесь, видно, выполняли ту же показательную функцию, что в Академии всегда демонстративно, всей пачкой четвертных или полусотенных, вынимаемые из кармана башли, — даже если счет на трешник: все равно надо, и в норушной жизни, что-то засветить. И здесь за рослыми заборами светились только вершки утопленных в зеленых куцах крыш: и ничего не видать, и в то же время сразу все, что надо, видно.

И потому, когда мы въехали за наш забор, сезамный вид самого особняка уже не слишком вдарил по воображению; я от другого приоткрыл рот: та белоснежная, как прогулочная яхта, «Волга» стояла мордой к каменному, чуть не шире дома, гаражу. Водитель выгружал припас и как раз пёр, когда мы вылезли, ту рыбину, чей хвост, дорвав обертку, теперь в открытую сверкал кремнистыми шипами по хребту, доселе виденными только на картинках. И мое сердце поневоле ёкнуло, как от впервые обнажившейся в природе, прежде лишь гадавшей в мечтательных подобиях женской груди. Игнатич уловил мой взгляд, но снес к другому:

— Вот так скромно живу, для друзей, — он подмигнул заскалившемуся тотчас Семену. — А то кобыл понакупали, а на конюшню не осталось, пускаю, вот, глядишь, подбросят безлошадного.

Он вроде как заигрывал со мной — таким же для него, как те друзья, подсобным человеком из прислуги. Но зачем?

На крыльцо основных хором выпорхнула пожилая тетка в дачном затрапезе, при перевязанных ниткой покалеченных очках и всем обличью вечной домочадной хлопотуньи и копуши:

— Приехали, Игнатич?!

— А, вот и кума! Покормишь голодающих?

— Секундочку, Игнатич! Только цыплята сжарятся. — Она еще была и острослов. — Порвите ягодки пока, хотите? Попаситесь...

— Это нам Пашка... А ну, точно, айда все, хоть сам нагнись два раза, с грядки слаще...

Но проведя нас к месту сквозь заросли участка, он сам и нагнулся именно два раза, — предоставив, главное, нам с Пашкой на растерзание клубничную плантацию. Верней, терзала нас она, размером с хороший картофельный надел, своей необозримостью и необожримостью. Часть урожая уже перезрела, пала и сгнила, забрызгав грядки точно сгустками

гнилой, приторной крови. Зато другая оставалась не в пример свежа и налита всем ароматизмом и сладостью сорта. И мы как дети подземелья накинудись на дармовщину с жадностью. Пашка еще, подонок все-таки непреломимый, подбирал тайком и жрал гнилье, боясь, видно, что недоедки будут сниться, — даже зоркий хлебосол Игнатич предостерег:

— Не перехавайте, обедать будем. Это, — он емким жестом очертил налитые вишни за клубникой и еще недолитые сливы, яблоки и прочую засасывающую благодать, — не убежит, все ваше!

И мне вдруг ни с того ни с сего захотелось рвануть, как заманенному фраеру, прочь от всей этой непостижимой по происхождению грудастости достатка...

Назад пошли другим путем и вышли к застекленной беседке биллиардной, на порожек которой уже были услужливо поданы наши пожитки. Игнатич отомкнул дверь и запустил нас вовнутрь. Я с любопытством огляделся. Штук пять киев, если не «чемодановской» (знаменитый мастер Чемоданов), то близкой к тому работы, с наклейками — и глазом видно, кожа, натуральный бегемот, — стояли навывтяжку в специальном поставце. Я взял шар с полки — кость, не обычный дешевый пластик, прокатил по столу — и плита не деревяшка, мрамор. Словом, все не просто дорогое, а в высшей степени достойное, если достоинство в этом, удовольствии. Пашка тем временем обследовал стол, им же в последний раз и деланный на свой халдейский лад. Эдак пожмет борта, поводит дряблой ладонью по сукну, пощиплет сетки луз, как будто что-то значит, кивая вроде про себя, на самом деле под хозяина: де я-то понимаю, как угодить мастерски, поймешь ли ты угодливую душу мастера и интерес? Хотя, говорю, и мастер был дрянной, только держался тем, что повымирали стоящие, и кивал не впрок: холуйская негодность налицо, а настоящей раскошеливающей убедительности — нисколько. Я даже пробовал было отучать, да плюнул: горбатуму один университет — могила. Игнатич, видно, тоже не любил дурачеств:

— Ты, Паша, тут не кивай, не та контора. Кивать я буду, когда сделаете.

— Ты чё, Игнатич, сделаем все без поганки, благородно!

Я взял кий, ударил пару раз. Заметив, что Игнатич смотрит, киксанул. Заманивать его на игру было немислимо, не-

лепо, — не тот банк! — но игроцкий ритуал сам дергал руку.

— Все с тобой ясно. Сколько форы дашь?

— Умел бы, дал хоть сколько. Вы ж, наверное, хорошо играете?

— Пой, пой! А ну, ставь шары! Одну «американку» на равных!

— Сейчас тебя Игнатич сделает! — завел Пашка свой подголосок, бородатый, как сама азартная игра. — Он игрок!

Игрок Игнатич был плохой; дело все же требует, как скрипка и рояль, сноровки, не солидной вообще в тузовом звании. Действовал он больше напором, наглостью, но... странная вещь: начав шутя, я почему-то не мог перестроиться под него всерьез, темнил, финтил, а шары клал он, мне не хватало духу побеждать его в пустой игре, где он-то и ловил весь смак победы.

— Я думал, ты плохо играешь. А ты совсем не волокешь!

— Дайте фору...

— Кто ж тебе ее даст! Ты про Глухого слышал?

— Так, слегка.

— Вот это был игрок, я выше афериста не встречал! Слух музыкальный, по хрусту трешку от червонца отличал, а начнет сводиться: «По сколько, не слышу?» — «По три!» — «Нет, по тридцати для меня слишком дорого, только по двадцать пять!» — и уже разбивает. Я как-то в Сочи его встретил, лет десять назад, на вокзале. Подходит: «Игнатич, я пустой, выручай!» А у него тогда была игра покруче, чем у Левона, «американку» через одну с разбоя забивал. Даю ему бабки, берем такси, едем в Дом Офицеров. Нашел себе какого-то капитана, стали играть. А он весь битый-перебитый, еще умел так руку держать, как будто там три перелома самое маленькое, ударит — и чуть кием сукно не рвет. Капитан ему два шара дает, а должен получить шесть — и то не угадает. Глухой крихтит, хромает, бьет в угол, шар в середину падает, а тут еще полковник стоял, смотрел-смотрел и говорит: «Товарищ капитан! Как вам не стыдно, с инвалидом играете и всего два шара даете! Нажиться собираетесь?» Я вышел, не могу, от смеха дохну. Ну и приделал Глухой этого капитана, и часы тоже отобрал!

Игнатич вбил последний шар и с удовольствием поставил кий на место:

— Раз с тебя! Пошли. Поешь ты здорово, но шара получишь, так и быть...

И я почувствовал, что будем играть на удовольствии, которое ему дороже денег, уступлю и на шаре, просто из невозможности не уступить, а почему так — даже непонятно.

Наконец мы вошли в дом. Широкая веранда служила в нем столовой, свадебных размахов стол был и уставлен как на выданье: и рыба, и икра, и черт знает что еще. Пашка так, замерев, и впился голодными глазенками, да и я прибалдел слегка. Немыслимо, чтоб это было среди бела дня под нас. Но если даже Игнатич, как надменный Лукулл в ответе каким-то захудалым, заробевшим на его помпезном застольи аллоброгам, угощал только себя самого, — все равно, на самый дерзкий счет, не мыслилось, чтоб даже он так праздновал свой каждый белый день!

У стола вместе с уже знакомой кумой, вертлявой, как шкварка на сковородке, — медлительной, законной павой управлялась еще одна женщина. Какой-то успокоенной дебелистью, спелой поволокой в некогда, видно, красивых и большущих посейчас глазах, она невероятно походила на самого Игнатича; его, как стало ясно, половиной и была. Кума же все юморила на ходу:

— Еще Игнатич, полсекундочки!

— А мы пока на балкончикходим...

— Хочешь свой рай им показать? Вот правильно!

Сраженное воображение терялось: что может быть еще за рай в раю? Но Пашка получил команду взять тотчас поданный кумой поднос с бутылкой, стопками и какой-то невинной, на фоне той столовой порнографии, закуской.

— У меня обычай: первую рюмку — наверху.

И мы гуськом пустились в восхождение по лестнице: Игнатич, мощным заходным тузом, впереди; я, темной неразыгранной картишкой, сзади; Пашка, шестерочной «ногой» нашего марьяжа, при подносе, — посередке. Путь в «рай» лежал через сквозную комнату второго этажа, и тут, наперед обещанного, произошло виденье посильней всех чаяний.

Шторы на окнах в комнате были спущены, мерцал беззвучно телевизор, а напротив, в кресле под торшером, сидела девушка с огромными глазами и всем тем, что может дочертить мгновенная на искус живопись души в шемящих красках полумрака. До нас она, видно, читала, раскрытая книжка лежала на ее коленях. Игнатич что-то бросил ей, но я не разобрал ни его слов, ни ее ответа, и проследовал

без остановки дальше. Я только повернулся на миг и встретился с не успевшим даже ничего сказать, но словно таившим что-то взглядом, и, колотясь перетрусившим невесть с чего сердцем, поспешил за следующую дверь. Там было опять светло, обычно, и все виденье позади казалось просто вымыслом самонадеянной фантазии. Тем более Игнатич, так обстоятельно вводивший нас в курс владений, на это, самое в них потрясающее, не отозвался вообще никак, точно веля немедля вычистить из головы, забыть, как пропаганда Годунова убиенного царевича.

Но мы уже добрались до заветного балкончика. Тройка плетеных кресел, столик под закуску, а дальше, за тесовыми перильцами простирался действительно райский вид. Только блеснувшее с дороги, теперь открытое во весь размах водохранилище, окаймленное до горизонта нигде не изувеченной лесистостью холмов, — все это всаживало прямо в сердце удивительный, неопикуемый восторг. То, что родная всем — плохим, хорошим, — мать-природа дала нам как утешительный пример какой-то сумасшедшей правоты всего живого, которому и мы исходно, сроду однокровки! Но люди и тут учинили свой разборчивый дележ, в котором наш хозяин оторвал, конечно, исключительную точку. Весь фокус ее был в том, что густая растительность внизу как раз застила все уличное, лишнее, и оттого вся зелень, синь и даль ландшафта казались как бы поданными, как зелень грядки, к столу: макай, как в мед, и хавай на здоровье!

— Ну что, рай? Может быть что-то выше?!

Да, выше, хотел, видно, быть только сам хозяин рая, — какими только, хотел бы я знать, чертями и какого ада вознесенный!

— В натуре!

Игнатич сам, казалось, чуть охмелел без рюмки:

— Вот сколько здесь перебивало, едят, пьют, а проведешь сюда — больше ничего не просят, только: пойдём, Игнатич, посидим в раю! Ну, сажайте!

Пашка, которому где водка, закуска, там и рай, только и ждал приказа; не знаю, вспотрошила ли что-то величая краса в его косоу душонке, но тут и он взошел до вдохновенья тоста:

— Ну, это, Игнатич! Чтоб стоял и деньги были!

— Ай, Пашка, дурень — дурень, а соображает! Свой-то, небось, давно пропилил? Или еще шкернишь тетю Катю потихоньку?



Я закосел слегка от просторного глотка и, пока Игнатич с Пашкой обсуждали стати 60-летней тети Кати, переметнулся мыслями к той, оставшейся у телевизора — несчастной узнице или капризной владычице здешних куш? Ясно было одно: плод явного запрета. Мне вдруг ужасно захотелось увидеть ее еще, удостовериться в чем-то мелькнувшем, несказанном в больших, только и оставшихся в воображении глазах.

И когда Игнатич сказал:

— Ну, хватит! За столом еще махнете по одной — и работать. Вечером напьетесь, — я сделал резкий рывок вперед, чтобы уличить хоть миг наедине, даже не представляя толком, как им распорядиться.

Но дерзость моя осталась, увы, невознагражденной. В той комнате шторы уже были раздвинуты, телек выключен, в кресле валялась одна книжка; я истребил свой миг на то, чтобы хоть по ней вызнать что-то о читавшей. Но книжка оказалась только пошлой, хотя и остродефицитной тогда «Анжеликой». Все вспыхнувшее невпадет в воображении рассеялось, погасло как экран. Впрочем, чего, какой еще китайской лирики я, сам по преимуществу поклонник всякой хохмы в духе Швейка и Зоценко, собирался ждать?

За стол уселись крепко. Жрали борщ, тех загодя объявленных и лакомых в детстве цыплят, затем явившийся без объявления шашлык, перемежая все это небывалой, все почему-то наводящей на мысль о непристойности и блюде закусью, рассыпанной по столу каким-то подавляющим, в духе оргий, навалом. Даже Пашка, самый голодный блюдоед, сперва как-то зажался, наколов украдкой пару ломтиков какой-то ближней спинки, но, хлопнув под шумок вместо одной рюмки две, разошелся и повел добычу все смелей и дальше от себя в съестном море, замазывая в бутерброде черную икру под белорыбицу. Игнатич, быстро выловив окрестности рта жирком, убирал румяных цыпок без форсажа, мастерски, показывая настоящий, высоты Левона класс, добывая взор количеством уже обглоданных и все неотвратимо прибывающих косточек на специальном, под них, блюде. Он мудро делал: не призывал зазря, чем только пуше б застрашал, к убойной рати, а подавал, с блеском щек, живой узаконяющий пример: все действительно съедобно, усвояемо и бесппроблемно восполняемо. Последнее наглядно подтверждала с каких-то необъятных закулисных залежей подвижница-кума, между тем не забывая и своей тарелки. Хозяйка

глаз с поволокой, напротив, почти не ела, словно сытая вполне одним Игнатичем, участием в его достойной загляденья трапезе: кума что-то поставит, эта подправит, Игнатич на-вернет, шоферы тоже при деле; не было одной — девчонки.

Я изо всех сил старался держаться естественно, но не мог избавиться от ощущения, однажды схваченного в пивной-автомате на улице Хмельницкого, которую тогдашнее студенчество перекрестило в улицу Опохмельницкого, и где я часто пропал, когда не в Академии, с такими же бездельниками, как сам. Раз в этом стойко переполненном при-тоне пробило дозировочный сосок, и пиво хлынуло сплошной халявной струей. Вечная битва мата и локтя вокруг в момент осеклась, точно боясь сбить такое фантастическое, сон всей жизни, чудо, которое смирило и перебрало всех. Мужики в стихийном озарении согласия кинулись, взаимопомо-гая, наполнять по кругу кружки, по-отечески хороня завет-ный родничок от сглаза раскормленной в своей стеклянной сижке, как чушка в хлеве, разменщицы монет. И было в этой коллективной бражке на чужой необратимый счет какое-то дразнящее, ненаказуемое упоенье криминала, на что вообще падка групповая подлость масс... Вот что-то сродное, прорыв какого-то чужого и несметного соска я чувствовал за поедом не в меру сладких явств Игнатича. Они, как та струя, не уто-ляли, только распаяли страсть, — и, сытый по уши, я про-должал с угодливых подач кумы накладывать себе на та-релку еще и еще, следуя осатаневшим естеством (и верь после этого ему!) такому противоестественному аппетитищу.

Честно сказать, за этим делом я даже призабыл про тай-ну девчонки. Но когда мы наконец отвалились как пиявки от ненасытного стола и разошлись: Игнатич — почивать, шо-феры и хозяйки — по своим трудам, мы с Пашкой — к сво-ему, за перекурором на порожке биллиардной вспомнил:

— А кого это он прячет — дочку? Хороша!

Пашка, целомудренно сберегший по женской части ре-бячий комплекс чистого паскудства, аж с перепугу обвалил пепел на штаны:

— Ты... кончай!

— Что именно?

— Сам знаешь! Игнатич, это, сразу оторвет!

— Да кто он такой?

— Хто? Хрен в пальто!

Пашка встал, как будто отрясти штанину, — на самом же деле скрыться от греха в беседку. Но я, чтобы заодно

как-то размять отупенье после еды, с которым смерть не хотелось ничего делать, сграбастал его за плечи и уставил в лоб бычок:

— Ну, колись!

— Череп неправильный! Поставь на место! Ну, начальник он...

— Чего? Табачного ларька?

Шуплый, но скользкий Пашка выкрутился из монх объятий, но продувная рожка сама занялась ужасом и знатностью секретнишца, вздымающего обладателя над всеми вне поля знания. В короткой битве двух равно властных человеческих желаний: поделиться и не упустить, — взял верх болтун, и Пашка вымолвил таким атасным тоном, словно вешал жизни обоих на волосок:

— Да, закачаешься! В колбасном цехе он!

Ну и профессия! Как только, интересно, при таких утайках, — симпатическими чернилами или шифровкой пишется в трудовой? Но меня в сказанном не столько даже потрясло величие самого вора, — вот где акула-то социализма! — сколько пропасть пашкиного низкопоклонства, его заветный родничок, в котором эта тварь барахталась каким-то настоящим божеством, языческим кумиром! И можно было, чувствовалось, сколько угодно тиранить, жечь бычком моего напарника, но вырвать чудо-струйку — только с сердцем. И даже, подумал я, стрясись что промеж нас с Игнатичем — и Пашка-друг возьмет скорей всего не мою сторону. А впрочем, что могло стрястись? Мы прибыли сюда за своим суверенным делом, к которому, кстати, как ни крути, пора было приступить.

Вступительная его часть была самой противной: развинчивать, снимать борта, лузы, выдергивать тысячу гвоздиков из старого пропыленного сукна. Пальцы немеют от однообразных напряжений, да еще в горле комом все эти непереваренные сласти: наш опрометчивый наскок на стол, который так же нельзя было съесть, как выпить магазин, нанес, как уже чувствовалось, урон не ему, а нам самим... И все-таки часа за четыре, пыхтя и матерясь на пашкину же предыдущую забивку: все, гад, всадил по шляпки, как под врага, — мы довели работу до конца, и сами сдохли.

Игнатич раньше довершил свой сон, заглянул с припухшим после столь же, видно, содержательного, как застолье, храпака, рыхлым лицом, попялился тупым акульим глазом

на наш труд и ухилил, призвав послеурочно и нас на рыбалку.

Рыбалка эта была не на том пейзажистом водохранилище, а прямо на задах участка. Туда, как и к другим моим, был прорыт отвод от внутреннего озера, напоминавшего осьминога с щупальцами, стяжавшего воедино отдельные владенья Ковыряловки. Игнатич восседал на складном стульчике с японским раздвижным удилищем, время от времени выдергивал из своей щупальцы карасика величиной с ладошку, сцеплял с крючка, бросал в ведро у ног, насаживал нового червя и опять забрасывал. Все это почти не меняя темпа и позы, отчего весь лов походил на какой-то механический перевод малолетних невольников из одного предварительного заключения в другое, окончательное. Он всучил и мне такую же удочку и втавил, против охоты, в состязание на счет. Пашка считал, и выходило опять, как на биллиарде, не в мою пользу. Вместо спортивной злости к мелким одураченным своим обжорством тварям я испытывал что-то обратное: закидывая удочку, втайне болел не за поимку, а за спасение, и потому на каждую мою жертву приходилось три его. Пашка же скакал и радовался как ребенок, вытаскивал, засучивал рукава, попавшихся из ведерка сличал, заглядывал восторженным мучителем в болезненные глаза и рты:

— Игнатич, а чё, они в мутной воде тоже видят?

— Они только в мутной и видят!

— Ишь, мухоморы...

К вечеру клев стих. Пришла хозяйка звать к столу, стала позади Игнатича, возложив с той же затрапезной негой на его монументальные плечи свои раскормленные до филейного налива руки. И я почти физически ощутил в растопленном закатном свете дух нестерпимой благодати, исходящий от картинной пары. Хоть впрямь пиши картину: «Счастье» или «Чего еще надо?» — Игнатич, озерко, удочка, жена, крутые кущи Ковыряловки... И если мне во всей этой пронзительной живописи и было чего-то жаль, то не своих проигрышей, не придурка Пашку, не наглой гекатомбы с общего колбасного стола в пользу филейного процветания одного, а этих никчемно отловленных на смерть карасиков в ведро у мощной пары ног. Даже необъяснимо, почему; но настолько, что когда мы тронулись, я, рискуя показать смешную мягкотелость, предложил, стараясь понебрежней, выпустить их обратно. Но тут вдруг Пашка, сам не ловец, только при-

мазавшийся к добыче, выказал такую бурную жадность, какой я еще не видывал в нем:

— Чё это, выпустить? Изжарить со сметаной — будет во!

Ведь только же вместе пузом маялись — куда! Игнатич без всякой дальнейшей заинтересованности в участии мельчайших братьев бросил:

— Ну, скажи куме, пусть почистит. А то хай кошки жрут...

— Чё это, кошки! Сам почищу!

И я по той же мягкотелости, толкнувшей на заступничество, не посмел спорить дальше...

После обеда и последующих расплатных мук мне, как отбившейся в корчах роженице, уже казалось, что больше в жизни не отважусь на такие страсти. Но только сели за свежеснаряженный стол, да еще вмазали по рюмке, — у меня опять потекли предательские слюнки. Вдобавок ноздри аж щипал сумасшедший запах от насаженного на шампуры шашлыка из осетрины. И я, хоть чувствуя, что делаю опять себе во вред, решил жрать: будь что будет, может, вторично таких изобилий для меня уже не наступит никогда.

Шоферы теперь уехали, зато явилась наконец девчонка. Молча, ни на кого не глядя, возжигая этим снова авантюрную загадку, села, скушала кусочек осетра и выдвинулась из-за стола. Мать только заикнулась:

— Куда ты? Посиди с отцом...

Но Игнатич неожиданно суровым для благодушной позы властелина диссонансом перебил:

— Не трогай, пусть! — и, дав ей удалиться, уже чуть мягче пояснил: — Умолять, знаешь, только хуже.

Жена, покорно мужней правоте, не пряча наконец-то прозревавшую сквозь нечеловеческое счастье человеческую грусть, только вздохнула. И, продолжая какой-то завязавшийся меж нами тьмой свежего общения разговор, сказала:

— Скучно ей здесь. Ребята есть, не дружит. Дома тоже не оставишь, Игнатич на работе, ни покормить, ни присмотреть... Школу в этом году кончила, а дальше что — не ясно. Учиться — ни в какую. Все же есть, на выбор, все возможности! Нет, говорит, пойду работать! Что хорошего? Отец всю жизнь работает — так для чего?

— Ладно, мать, не скули, и без институтов проживем. У нас эти, образованные, гурьбой трутся, а что толку?

— Ох, не знаю... А все-таки! С отцом вот на море собрались, может, хоть там развеселится, отдохнет. А то, ну что

ей здесь, действительно: телевизор, книжка, в лес по ягоды — зачем, их вон полный огород, все киснет, девать некуда...

Грустную тему прервала кума со свежей порцией дымящейся шампурной осетрины, на которую сам радовался и рот, и глаз, — со своим нестоющим оптимизмом:

— Игнатич! А поподжаристей?!

— Ай да кума! Не кума, просто умница! Ну махни, махни еще рюмашку с нами!

Махнули все, засластили ананасным соком, и аппетит удвоился. Теперь разъелась с тихой, словно чуть стыдящейся безумства поглощаемых объемов страстью и хозяйка. Пошла уписывать и лосниться наравне с Игнатичем, точно здесь и была одна действительная утешительная сладость, что властно вытесняла сорный элемент несовершенств, печали. Казалось, стоит еще чуть налечь, — и падут, как несостоятельные, остальные пустяковые невзгоды, смерть сама не устоит и сдастся под агрессивней такой невероятно насыщенной жизни!

Пашка на сей раз не только обожрался, но и опился. Сидел, еле дыша, не шевелясь, уже ничего не приемля вовнутрь, боясь извергнуть принятое. У Игнатича к концу заблестел бисерной испариной и лоб, хозяйка тяжело прикинула к нему, так и выключилась. Неутомимую куму и ту подрезало: едва уселась окончательно, чтоб отдохнуть за хлопотливый день на свою «секундочку», как заклевала носом: уронит голову на грудь и тонко: «П-с-с...» — очки падают, дрыг головой, очки нацепит и опять: «П-с-с...» — как тоненький кларнет в апофеозе, отчеркивающий все ключевое торжество последнего широкого удара... Игнатич наконец сыграл отбой, мы с Пашкой как два куля отволоклись в нашу комнату и пали замертво.

Назавтра, после сонного провала, снова зарядился день, — как ни казалось, что все возможное и невозможное уже произошло, стремиться дальше некуда и незачем, оставшейся заботной мелочишки не наскребалось на дальнейший интерес. Но только вышли на веранду — заново, как ни в чем ни бывало, отсервированный стол, со всем дикарским изобилием и ломотой закусок, опять смешал все мысленные карты. А кума уже голосила утренним приветствием со своей адской кухни:

— Секундочку! Сейчас Игнатич выйдет, сядем...

Но я твердо решил больше не ввязываться в оргию, только попил чайку и, бросив Пашку, который, ясно, остался ло-

пать, ушел к трудам. Но все-таки, — сверлила снова мысль, — что это значит? Чего хочет от меня Игнатич? Не даром же все эти ласки? Если вманить в какие-то свои аферы, как меня уже пытались в Академии, когда я сказал: нет, не умею, — а мне: ничего, главное, у тебя честные глаза, а дальше выучим! — напрасный труд... Я шел сюда свободы ради и не продам ее ни за какие осетринные похлебки! Или уже потихоньку продаю? Ладно, как говорил Чума, вскрытие покажет. Надеюсь, убивать он меня не собирается, а на остальное чхать!

Днем мы всей кодлой, за исключением девчонки, пошли на озерко купаться. Ее постоянное отсутствие, с приправой прочих тайн, сверлило исподволь воображение. То, что между нами было, — тот мимолетный, нераскрытый взгляд, — обрастало всяческой фантазией; казалось, будет и еще что-то; мы как два играющих кия столкнемся обязательно; а там, — это уже как исход любой игры, удел непредсказуемого...

Игнатич сам не купался, только наблюдал и вел спектакль:

— Кума! Ты хоть зайди по бабочку!

— Это, Игнатич, где ж?

— А вот тебе Пашка покажет!

— Ой, черти, не надо, я сама!

Она жеманно болтала длинными, висячими в задрипанном купальнике грудями, — и сладкая малина Пашке, обожателю гнилья. Он, так и сяк крутясь, не знал как лучше подобраться: узость и мелкота канавки не давали вволю раздурачиться. У хозяйки же было нежное, почти съедобной белизны тело. Она его стыдливо достала из одежд и сразу, как зашла в воду, поспешила плюхнуться, на что возбужденная событием волна сладострастно облизала губы берега. Они блаженствовали, барахтаясь по-собачьи в перегретой жиже; блаженно с берега утеху созерцал Игнатич... Я тоже окунулся, но вылез скоро. Меня во всем этом утешало другое: я мысленно старался дописать портрет отсутствовавшей, за неимением прямой натуры — от противного. Но было во всем этом и что-то противное, от чего хотелось внутренне отдернуться, как в страхе детской сказки: «Не пей, Иванушка, из копытца, козленочком станешь!»

А вечером к Игнатичу пришли гости: сосед по Ковыряловке с женой и отпрыском, прыщавым малым как раз в тех, с рантом, сапогах и фирменном джинсовом костюме, —

роскошь по тем временам сказочная! Еще они приволокли зачем-то полную сумку шампанского, из чего можно было заключить о принадлежности гостя по клану винзаводчиков. Шампанское откупорили, но, к несказанным завидушим мукам Пашки, пить не стали, так и выдохлось, — всем больше по вкусу пришлось игнатичева экспортная водка с импортным соком.

По случаю гостей спустили и девчонку с ее верхотуры и усадили рядом с пацаном. И я невольно взвелся встречным внутренним напрягом: как поведут себя по отношению друг к другу? Но они пока не вели себя никак; вело застолье старшинство, — на вечную гражданскую тематику, только изощренную среди граждан Ковыряловки изобилием возможностей.

— Главное, — веско комментировал Игнатич, — для человека что? Похавать правильно. Кусок вырезки, только натуральной, не из магазина, и будешь сыт всегда, и здоров, и никаких, — он небрежно кивнул в сторону столовых чуд, — этих деликатесов не надо...

— А в магазине, что ты, Игнатич! Такая дрянь стала, оторви и брось! — жарко поддерживала гостя, не заботясь о том, что сам сторонник моноблюда, возможно, отнюдь небеспричастен к тому: — Я взяла на той неделе говядину у нас, мои и есть не стали!

— Как можно! Человек что ест, то он и есть! Надо уж, если для себя, так самое! Нельзя, чтоб аферистам шло, а людям — нет!

— Вот-вот, Игнатич!

— Заплати, но только чтоб все чисто, благородно. Я сейчас шапку взял на зиму, что надо отдал — зато натура, мех! Наденешь — сразу чувствуется!

— За что люблю Игнатича: скажет — как нальет! — встрял и гость.

И хоть сама суть слов мне никак не была близка, невольно льстило поэтическое превосходство «нашего» Игнатича — вот это вечное коварство формы!

— Ну, кто там, наливай!

Пашка уже исполнил, не успел гость выговорить, милую обузу и вопросительно занес бутылку над стопкой пацана.

— Ладно, плесни чуть, при родителях можно...

— Правильно! — Игнатич знал кругом ответ. — С ребятами не пей, лучше напейся дома, если тянет, при родном отце, — по заблестевшим глазкам отпрыска чувствовалось,



что он как раз не напролом стремился к лучшему, — чем где-то там, на стороне позориться.

— Слушай, дурень, что Игнатич говорит! Поедете на юг, чтоб как отца! И ты, Игнатич, чуть что — прям по затылку его!

Э... вот как тут уже все спето! А я-то дурак! И прыщ действительно раскрепостясь с отеческой подачи, скоро пошел навешивать на ухо моей затворнице какую-то лабуду. Я только расслышал: «на уроке химии...» — и, несколько раз, сквозь давку его смеха: «пердячий газ...» Правда, она воротила или делала вид, что воротит ушко, но где ж ей — все схвачено уже! — отвертеться! Стерпится — слюбится, и снюхается; не сразу же, вероятно, соспели в то филейное, что есть, состояние и их мамы! Но как ни смехотворно отзывалось мое расстройство по чужой пропаже в пашкиной тоске по откупоренным на выброс шампанским пузырям, мне стало безрассудно жаль, что они все-таки уедут, спетой волей пап и мам, на этот юг, и все невысказанное между нами так и останется невысказанным навсегда! Но тут весь ход событий круто изменил Игнатич, оторвав мальчика от его вонючих тем вопросом:

— А у тебя ж вроде была гитара?

Откликнулась, чуткая материнским слухом, винзаводчица:

— Игнатич, три у него, валяются без толку, а путем ни на одной не может!

— А ну, тащи, у нас тут есть свой артист!

Неожиданный заказ, переместивший меня с периферии на центр внимания, раздался как новый вызов в какой-то странно шедшей между нами схватке. Гитара, поданная быстро — видно, дача гостей была неподалеку, — оказалась первый сорт. Если владельцы Ковыряловки и в остальном так рьяно блюли потребительский завет Игнатича, мало ж могло отпасть на долю аферистов! Но мне давался шанс надрать хозяев поля их же снастью; правда, я раньше никогда не использовал свой дар как боевой, но зря, что ли, толкался в Академии, где говорили так: «В Одессе учатся сначала выигрывать, потом играть!»

Тогда я помнил песен тьму: и эстраду, и народные, и классику, — но, чтобы далеко не ходить, и начал с того, залетевшего еще дорогой «Ворона», как следует, со всеми струнными переборами в басу — коронный номер! Народ сразу прибалдел, как Пашка, когда я первый раз распелся

перед ним. Вытаращился дикарем: «Ты чё, как это?» — и долго не верил, как и в консерваторию, что это делается чисто, без всякой тайной, обязательной для Академии «поганки». Но эти скоро стали требовать, как во всяком нагретом до лирического градуса сборище невеж, такого, «что все знают» — горя оптом отличиться в том, что непосильно в розницу. Мне ничего б не стоило осилить глоткой самозванный хор, но я нарочно не делал этого: ничто так не способствует симпатии к артисту, как досада на чинимые ему помехи. И номер удавался: девчонка только и смотрела на меня, — хоть мне, под нажимом публики, и приходилось петь не лучший свой репертуар. Но это все уже, кто понимает, не принципиально; главное — есть контакт или контакта нет. А он был!

Но с набором градусов нажим крепчал, затребовали таких частушек, что той, под кого я рвал глотку и струну, пришлось — и уже явно охоте вопреки! — покинуть сборище. Я подыгрывал механически похабщине, а охмеленный рассудок скакал туда, ввысь, за потолок... Скоро кума, уже не слушая меня, пошла сама, как музыкальная шкатулка, со своим припевом в пляс, крутя руками над головой, как выкручивают лампочки. Прыщ же хныкал:

— Ну, пап! Ну еще чуть-чуть! Ну капельку!

Но «папа», забыв всю педагогию, травил в десятый раз один и тот же анекдот, копируя хмельным занудством неслуха-сына:

— Где у бабы ап-пен-ди-цит, Игнатич? Как войдешь — направо!

Я, улучив ненадобность в своих услугах, вышел покурить на улицу и замер, замороженный сумасшедшей мыслью: что, если впрямь рвануть — туда, наверх? Здесь, посреди логова, нанести бесчестье, о котором можно будет потом вспоминать всю жизнь! Я не знал, в какой именно она из верхних комнат, но в пьяной голове невесть с чего засело диким путеводным лозунгом: «Как войдешь — направо!»

Когда я вернулся на веранду, Пашка уже выкручивал лампочки вместе с кумой — одной рукой, а другой выкручивал ей грудь. Я перевел взгляд в сторону Игнатича — да так и вздрогнул: Игнатич, трезвый как стекло, смотрел прямо на меня и, голову на отсечение, читал насквозь весь мой охальный замысел!

Больше того! Когда гулянку наконец свернули, бесчувственного Пашку открыли от кумы, гостей спровадили, и

я, уже под Пашкин сап, прилег, дрожа как лист, отвагой плана, — за дверью раздались шаги, и невидимая, но ясно, чья рука задвинула внешнюю щеколду. А я еще, когда увидел — подумал: на что она? Вот на что! Я еще не знал, что есть на свете Ковыряловка, Игнатич, — а меня уже здесь ждали!

Но пробуждение мое на следующее утро было радостным. Ага! — раз дело на щеколду, значит, меня уже побаиваются! Есть контакт!

Мы снова сели за чертов стол, но теперь и он оказался не так страшен, как сперва намалевался. Я больше не испытывал натужных мук соблазна и отказа: бесцельный жор просто приелся, надоел; естество, которому надо все же верить, само раскинуло все по местам.

А главное, уже просматривался и конец трудов, — все пыльное и муторное, с чисткой, шлифовкой было позади, оставалась самая искусная и приятная задача: положить свежее сукно, собрать и выверить все по струнке. Обычно я всегда распевал что-то за работой, но здесь от перегрузки брюха, что ли, целых два дня изменял обыкновению: зато теперь наверстывал пробел вовсю. Есть у композитора Доницетти такая замечательная и смешная опера «Любовный напиток». Деревенский парень Неморино, молодец собой, но простофиля, влюбляется в первую и вздорную красотку на своей деревне — Адину. И от любви делается совсем не свой, молчит как пень, морит девчонку скукой и продувает даром залетному вояке-сердцееду. Но тут на горизонте объявляется бродячий чудодей Дулькамара, торгующий любовным напитком: стоит выпить флакон, и та, кого хотел, твоя. Все зелье — обыкновенное вино, но Неморино такой лапоть, что с полной верой в чудо берет на последние и выпивает сразу два. И чудо, к неопишуемому изумлению самого торговца, совершается. Проклятую робость сдувает без следа, малый видит, что на самом деле он красив, смышлен, речист, — не полюбить нельзя! И это тотчас начинают видеть все, — девчонки сыплются за ним гурьбой, Адина в трансе, вояке от ворот поворот. А герою уже деревни мало, ноги тянут на простор, выносят на берег озера, и тут он поет романс — знаменитый романс Неморино, обворожительней которого я не слышал в жизни. Мир запрокинулся, как в озере, в его глазах, несносная вчерашняя тоска стала самым несносным счастьем, жизнь прекрасна! И он все это выпевает одним духом, так, что очутившаяся заботливой случайностью по-

близости Адина сражена в самое сердце, и он одним ударом получает все, делая заодно сногшибательную рекламу ловкому прохвосту Дулькемаре.

Вот этот романс я и затянул между прочим, сажая гвоздики в сукно, сперва тихо, потом незаметно разошелся, даже бросил молоток; Пашка привык, не обращал внимания. Поворачиваю голову — и прямо напротив, на дорожке вижу девчонку с глазами распахнутыми шире Ковыряловки — на меня, а в глазах — полный аншлаг! И тут со мной творится невероятное. Я перестаю начисто видеть белый свет, а вижу свет другой, искуственный: матерчатый небесный свод со звездами, большой луной, нарисованное озеро, явно слышу пиццикато скрипок, вторящий мотиву гобой. Там есть в конце трудный пассаж, я его не пел целиком вообще никогда, надо учить, а тут беру как во сне, нота в ноту, возвращаюсь в тонику, поворачиваюсь с дрожью сердца к яви, — и упираюсь взглядом, как вчера, в стоящего вместо девчонки посреди тропы Игнатича.

Я так струхнул, словно попался невесть на каком, достойном кары преступлении, даже не смысля толком, в чем оно? Но на его загадочном лице была не кара, а что-то еще; он только подмигнул насмешливо:

— Пой, пой! — и скрылся.

Но фокус дьявольского преобразования отбил уже всякую охоту к этому. Под конец, когда стол, уже весь в сборе, засиял нетронутой щемящей зеленью, а мы дошивали лузы, Игнатич снова заглянул — полюбоваться. Пашка распелся так старательно, что нам с царской щедростью было выслано по рюмке: веранда уже вступала в фазу ужина... И вот, последнее заматано, пылинки сдуты, я отослал Пашку с благовещеньем, сам начал прибираться. Игнатич явился один, принял труд быстро — все было на его наметанном и, судя по всему, оставшемуся довольным глазу, — и отсчитал прямо на сукно заветный куш:

— Это за работу... — сумма уже явно включала и обещанную премию, но главный сюрприз ждал впереди: — За остальное тоже надо отличить. Я вижу, ты парень хороший, натуральный, наш, попел, потешил бедного колбасника. Надо благородно, не стесняться друг другу помогать. А то русский Ваня только пашет (это он свою, что ли, колбасную запашку, или нашу с Пашей имел в виду?), а мразь пользуется! Я ведь на юг еду, винца хорошего попить, на сол-

нышке погреться людям надо. Мать не любит — хай с кумой крыжовник щиплет. Так вот... Айда с нами?

Я только распахнул онемело рот, но Игнатич был готов и к этому:

— Я знаю, ты парень гордый, ничего даром брать не станешь. Считаю, это между нами в долг, пока, потом рассчитаемся. А кто нам не нужен — и отшить недолго, дело наше. В общем, смотри! Завтра поедем — скажешь. Ну, пошли...

Я еле выдавил: сейчас, дособеру вещички, — и он понятиливо оставил меня наедине с моим расплохом. Так вот чего он хочет?! Не честных моих глаз и рук, а всего, живьем, от гениталиев до глотки! Ну, силен купец! И первой моей мыслью было даже, как ни странно, не хочу ли я того, — а чем, в противном случае, могу чистосердечно отбрехаться? Экзаменами в ГИТИС — в которые и сам все еще не вполне верил? Но я вдруг ясно почувствовал, что стоит заикнуться — и буду держать их не в шитой страхом аудитории, а за винцом, под пальмой, в пляжных трусиках, — а там, глядишь, и без! Поди хреново! Одни глаза, глазищи чего стоят! Дна не видно — и там, и там! Отец ворюга — ну так он же, не я! В крайнем случае, что маловероятно, сядет. Так неужто где-то здесь не предусмотрена такая ископаемая доля, что сама стремится стать моей? А где подъемы ввысь лежат иначе? В Академии? На эстраде? Где? Я с ужасом чувствовал, что логическая мышеловка захлопывается, а вставить в захватывающие дух створки нечего. Честь? Но она — понятие обхожее, тем паче для артиста. И любимый Доницетти не давал ответа. Там, в опере, которую я знал наизусть, есть место, вроде проходное: незадолго до сумасшедшего, конец всему, романса на деревню прилетает весть, что нищий Неморино сделался наследником какого-то отдавшего концы на чужбине дядюшки-богатея. И Адина, идущая на озеро пасть под чарами его бельканто — в курсе! Пустяк, но вот же, вложенный!

Мой путь в цикадных сумерках от беседки до дома как будто сцепил воедино все: жизнь, сцену, выбор. На картинном небе высыпали звезды, отлилась дебелия луна; я чувствовал какой-то драматизм развязки, коей не хватало до осуществленья толики, штриха! Я уже поставил ногу на ступень крыльца, в растерянности шаря взглядом, за безответностью внутри, во внешнем мраке, — и тут: есть фортуна в

пустяках! — наткнулся на спасительную мелочь, кончившую враз все порочное сомненье.

Это было то самое, забытое в пылу обжорства у крыльца ведерко с выловленными мной с Игнатичем и сгубленными пашкиной жадностью карасиками. Сам он их, конечно, не вычистил, а попросить куму, хапая ее за отспелые груди, видно, постеснялся. Так они и стухли и плавали теперь, тускло блистая в освещении с веранды, вверх животиками и уже шибали легкой вонью. И черт знает, что такое они, узники напрасной жизни и напрасной смерти, перевернули во мне — что в нас переворачивает единственная, неисчислимая никаким алгебраизмом нотка? Но всего миг назад пленительное в соблазне сделалось для меня, как в вещи выдумке про оборотня, отвратительным, — и в ту же секунду, с точностью случайного, такт в такт, явления Адины сквозь цикадный звон раздался звук разгона дальней электрички. И я уже наверняка знал не только суть, но и форму моего ответа.

За столом опять галдел вчерашний сбор. Моя Адина, с которой я без малого не обручился, так, кстати, и не перемолвясь ни одним словом, была тоже здесь. Но взгляд ее широких глаз больше не прятался и без слов сказал мне все, что мог сказать, — увы и ах! Я сел рядом с Пашкой, выждал, когда общее внимание ко мне рассеется, и тихо бросил:

— Я сейчас еду. Электричкой. Только молчи...

— Ты чё? Пожрем! Завтра свезут, прямо в Академию. Чё Игнатич скажет?!

— Тише! Что скажет, то и скажет. Отбрешишь. — Пашка уже был косою, тащить его с собой невысказанно, как и мне до утра таить ответ, — не из боязни изменить, и даже сообщить, а так: уж если действовать — интрижней вдруг и на ночь глядя.

Я выждал еще чуть, затем, демонстративно достав курево, поднялся. Только одни глаза следили за моим маневром, и я, когда с ними снова встретился, сделал, почему-то сочтя нужным это сделать, короткий, незаметный никому прощальный знак рукой.

На взятие вещей из биллиардной ушла минута, я погасил свет и с легкой, сладко жмушей грустью двинул к выходу из честию побежденного капкана. И вдруг, уже на траверзе освободительной калитки, услышал шаги за спиной, обернулся, — от заднего крыльца дома ко мне бежала девчонка. Я

даже растерялся от непредвиденности так далеко зашедшего успеха; она остановилась в шаге от меня:

— Вы уезжаете?

— Да, надо...

— Возьмите меня с собой...

Мне показалось, я не то услышался, не то не понял, и машинально переспросил:

— Куда?

— Куда угодно! Только отсюда!

Тут только до меня доехал колоссальный смысл признания. Вот это дернул я — и чем, чистым искусством! — матерого туза! Как получить? Но не успел я, в смеси ликования и отчаянья, что оторвал кусок шире рта, сложить ответ, — как прямо за ее спиной, на отдаленье основной тропы увидел в сумрачных доспехах зловещую фигуру самого Игнатича. Пашка, гад, продал! — успело пронестись в сознании, прежде чем оно окончательно ушло в пятки.

Она тотчас все поняла по моему лицу, и огромные глаза в картинной, под россыпью всех звезд тьме отсыпались такой тоской, что только и бывает в жалостных индийских фильмах, — вот за что, видать, их так пылко любит наш народ! Но я, увы, был не Радж Капур, даже не родной актер Баталов. Меня хватило только смекнуть, что единственное, что я могу снести с победы — это ноги, я развернулся и рванул во весь опор через калитку, через всю пустынную, ни шавки, Ковыряловку, через какие-то поля, — туда, где запевала песню нового пути и далее электричка...

А дальше все сложилось так... Порвав окончательно с Академией, с моим напарником, я, ухватив какой-то дух уверенности в том побеге, налег на подготовку к экзаменам, прошел их благополучно и до сих пор признателен судьбе за все, что она со мной сыграла для такого поворота. Правда, что до девчонки, — некоторое время потом меня не отпускало чувство какого-то неоплаченного долга, словно я нажил свою судьбу ценой невольного предательства и обмана. Но что, действительно, могло быть между нами? Смешно вообразить, чтобы пара самых вдохновенных нот смогла что-то глубоко перековырять в родовой империи Игнатича. Но порой, когда я выхожу на сцену, причем неважно — у нас или в других, процветающих краях, и игра идет, — я чувствую: находится такая связь, что все к чему уже, казалось, нет возврата и отдачи, возвращается. Я словно вижу тогда, где-то по центру зала, эти бездонные глаза и помогаю им,

как не смог тогда, в тот звездный час, уйти, как из проклятой калитки, из закольцованной земной тоски. Не я один, конечно, все на сцене. И пусть мы не поем зазря и маемся своими язвами, пусть эликсир в прохиндейском флаконе Дулькамары просто дешевое вино, — но чудо следует, любовному питью — расхват, и потому, я думаю, мы пользуемся им правильно.

---



Иван АХМЕТЬЕВ

СОЛО

\* \* \*

Иные книги, будучи прочитаны,  
без остатка растворяются в сознании.  
Иные, как увесистый кирпич, отягощают эрудицию.  
Иные становятся к тебе в личное отношение.

\* \* \*

несмотря на наличие отдельных субъективно честных и даже компетентных (?), все их действия были направлены не на благо народа, а на удержание власти

\* \* \*

генеральная репетиция абсолютного зла

\* \* \*

во всякой советской подлости есть некий процент подлости  
общечеловеческой  
традиционно-русской  
марксистской  
прогрессистской  
радикалистской  
сионистской  
державно-имперской  
интеллигентски-снобистской  
урбанистской  
мафиозной  
стадно-популистской

\* \* \*

перевести агрессивность в конструктивное русло

\* \* \*

Есть любители находить недостатки великих произведений, не понимая, что оценивают их с точки зрения того таксономического уровня, который ими превзойден.

Заочно может показаться, что уровень-то ниже, чем объявлено. Но на самом деле нет ошибки, стоит почитать — и книга как лифт поднимет любого желающего.

*ср.:*

вместо того  
чтобы прикладывать к этим стихам  
ваш убогий критерий  
вам бы следовало учиться по ним  
что такое поэзия

\* \* \*

это ли не верлибр

\* \* \*

Из Владимира Казакова:  
Не знаю, как вы, а я не знаю, как я.  
Не перебивайте меня, я молчу.  
...все, что есть, начинает казаться.

\* \* \*

Джойс, да, играет культурными понятиями, но он, в отличие от Н., ощущает их вес.

\* \* \*

не бойсь

не Бойс  
а Гройс

и не грозен  
а бессовестен

\* \* \*

Как сыграли Булгаков с Бердяевым?

\* \* \*

Святой Фома Аквинат  
непрочь был выпить вина  
в качестве продукции  
для улучшения дедукции

\* \* \*

Восприятие искусства начинается с восприятия системы  
образующих его приемов.

\* \* \*

Наглядно видно, как примитивное бедное общество  
вытесняет обладателя сверхценной способности из жизни.  
Причем индивидуально я могу как бы убедить кого угодно.  
Но общество в целом остается тупо и невосприимчиво.

\* \* \*

Объявление:  
умею читать

\* \* \*

Какой язык доведет нас до Кнева?

\* \* \*

прохладная древнекитайская философия

\* \* \*

заблудившися в толстом томе письма, записки и рисунки

\* \* \*

постмодернизм постмодернизмом,  
но надо же и совесть иметь

\* \* \*

нет, кто сказал  
что весь народ советский  
поддержал  
я это отрицаю  
(из речи депутата)

\* \* \*

считал старичок из Черемушек  
что ему помирать не черед еще  
    когда простудился  
    он долго лечился  
но помер старик из Черемушек

\* \* \*

Если бедный молодой человек случайно попал на время в гарем великого шейха, он должен уйти оттуда незаметно, все оставить на своих местах, иначе государство пошатнется.

\* \* \*

к топору  
к отпору  
отпор топору

\* \* \*

с кем ты кончал,  
когда до конца  
оставалось немного

\* \* \*

какой святой антисемит  
нам Пятикнижье объяснит  
и в ожидании Суда  
Рембо отправился куда —  
под землю или в небеса  
и что об этом знал он сам?

\* \* \*

сублимать твою

\* \* \*

*М. Айзенбергу*

редкое ощущение  
читая забыть  
что ты писатель

\* \* \*

евгеноцид  
сиречь противоестественный отбор

\* \* \*

помню праздничную пионерскую форму:  
темный верх  
светлый низ

или наоборот

\* \* \*

о ласк сало  
и ген неги  
как  
саван на вас

\* \* \*

летопись, векопись, мигопись...

\* \* \*

Also sang Jim Morrison

\* \* \*

Гениальность, незаметная в быту.  
Автор выражает нечто *обычное* для данного круга.  
Сосредоточен на очевидном.

\* \* \*

подстольные писатели

«я на жизнь  
взираю из-под столика»

undertable

\* \* \*

*Из Б. Ахмадулиной*

опрятный организм, увенчанный умом

\* \* \*

что сказать об этой снеди нам?  
постепенно будет съедена

\* \* \*

и не введи нас во Ингушетию

\* \* \*

книга рекордов Борхеса

*Н. Байтов*

I was  
и ныне там

Пародии на  
Пьянству — boy  
Блядству — girl

\* \* \*

Поль Валери  
любил послушать Гретри,  
а после, надев пенсне,  
критиковать Масснэ.

\* \* \*

свежие ветры  
доносят до нас  
из провинции  
эту духовность  
(*Радио России*)

\* \* \*

свистать всех на вечер  
*или*  
свистать всех на вече

\* \* \*

как ныне собирается ветхий Адам

\* \* \*

это не политика, а художественная самодеятельность

\* \* \*

Очевидно Кублановский представляется Роднянской образцовым автором: достаточно способным, чтобы освоить стихосложение, и насчет православия...

\* \* \*

с Дарком и Ярком

\* \* \*

пе-сни  
не спи

---

Михаил ПОГАРСКИЙ

### ПУТЕШЕСТВИЕ В ШАМБАЛУ

Стояло утро. Именно стояло...  
Вчерашний зной  
Еще томился в чердаках,  
Тогда как над рекой  
Туман клубился.  
В его непрочных зыбких очертаньях  
Дрожала будущность нетронутого дня.  
Казалось, воздух был напоен ожиданьем  
Какой-то встречи...

Ласковое утро — метафора на прожитую жизнь.  
На нашу жизнь, отложенную в завтра...

Какого дьявола?! Я изломаю вязь  
Намеченного задолго сегодня.  
Сорву десятки деловых свиданий  
И умогаю к черту на рога...  
А для начала загляну на холм.  
В пивнушке на холме всегда царит случайность...  
Глоток холодного разбавленного пива,  
Что может лучше быть в начале путешествий?

Отложенные деньги на костюм  
Я заплачу за продолжение тумана.  
И летний зной отступит на немного,  
И мне откроется полдневная звезда...

\* \* \*

В пивнушке допотопный патефон  
Ломал обыденность каприсом Паганини,  
И заспиртованные заживо сердца  
Заблудших монстров трепетно внимали  
Далекому бунтующему зову...



Двойная дюжина прославленных каприсов.  
 Двойная дюжина еще не выпитого пива...  
 Потеря времени... Переполох пространства...  
 Зачатие поэм и приключений...  
 Чуть слышное предчувствие любви...

Убогая пивнушка на холме  
 Предстала в жизни точкой перегиба.  
 И я в импровизации событий  
 Ушел из выпуклого круга бытия...

\* \* \*

Всего две дюжины мистических причалов  
 Разбросаны по контуру Земли.  
 От них один раз в год воздушные фрегаты  
 Увозят ищущих в желанную Шамбалу,  
 Где постигается седая пустота,  
 И где нисходит в душу просветленье.  
 Там происходит перекося сознания,  
 И изначально скрытые стихи  
 Звучат сквозь чистый невечерний свет...

Двенадцать гаваней затеряны в Тибете,  
 Четыре в Африке, четыре в Антарктиде,  
 Еще одна закручена в Мальстреме,  
 И две среди Бермудских островов.  
 А о последней гавани — ни слова  
 Не сказано в мистических скрижалях...

\* \* \*

Я допивал шестую кружку пива,  
 Когда вошли они — седой старик  
 В песочном канотье  
 И дама с фиолетовой вуалью.  
 Старик купил копченую салаку,  
 Две пинты пива, бородинский хлеб,  
 И пачку беломорских папирос.  
 У северо-восточного окна  
 Они расположились.  
 Преодолев в себе поток смущенья,  
 Я подошел к ним, на столе оставив  
 Придурковатый ряд в семнадцать кружек.

Насочиняв, что я, мол, собиратель  
Старинных анекдотов и легенд,  
Я попросил их, если им не трудно,  
Пополнить чем-нибудь мой вычурный гербарий...

\* \* \*

«Извольте, сударь, я Вам расскажу  
Одну параболу об этом самом месте,  
В котором Вы позавтракали пивом...  
Давным-давно на этом вот холме  
Стояла не убогая стекляшка,  
А двухэтажный основательный трактир,  
Что назывался по-приморскому — таверна.  
Его хозяин, бывший капитан,  
Имел весьма сомнительную славу:  
Судачили, что он — морской грабитель,  
Контрабандист, джентльмен с большой дороги,  
Что он скупает краденые вещи,  
И прячет убежавших каторжан.  
Он был неряшлив, стар и некрасив.  
Но у него, у чистокровного злодея,  
Была пронзительно красивая жена,  
А может, падчерица, точно неизвестно.  
И только ей благодаря ходили выпивохи  
В на редкость подозрительный трактир...  
И вот, однажды, там была попойка —  
Гуляли бесшабашные цыгане,  
Что промышляли по деревням конокрадством.  
Всю ночь курился шабаш на холме.  
А утром почитатели похмелья  
Нашли в трактире только пустоту.  
Исчез трактирщик, юная хозяйка,  
Цыгане и пропойца Евдоким,  
Уснувший с вечера на старой оттоманке.  
Предполагали, что случилась драка,  
В пылу которой был убит хозяин,  
А девушку цыгане увезли, чтоб замести  
Все отголоски преступления...  
Но вот... куда девался Евдоким?  
Быть может, и его убили?  
На всякий случай — все-таки свидетель...  
И вот что странно: почему они

Не захватили баснословного богатства  
 Из сундуков, набитых до отказа?  
 Мне эта тайна не дает покоя  
 Уже почти седьмой десяток лет...  
 Трактир сгорел, построили стекляшку,  
 Но я сюда все время захожу  
 Поест салаки с бородинским хлебом  
 И, выпив пива, погадать о смысле  
 Трагедии давно минувших дней.  
 И, знаете, к чему же я пришел  
 По истеченьи долгих размышлений?  
 Здесь, на холме, — мистическая точка...  
 Утраченный последний вход в Шамбалу,  
 Откуда раз в году уходят Дирижабли,  
 Беря на борт Стоящих На Пути...»

\* \* \*

«Не слушайте отца, он — сумасшедший...» —  
 Шепнула мне очаровательная леди,  
 На миг откинув легкую вуаль.  
 «Он помешался на тибетских книгах,  
 И каждый день таскается на холм,  
 В надежде, что прибудет Дирижабль,  
 Дающий рейсы из пивной в Шамбалу.  
 Он сторожем хотел устроиться сюда,  
 Но кто же сумасшедшему доверит  
 Оберегать сию бесценную пивную?»  
 «А Вы не думали, что, может быть, он прав?  
 И здесь действительно таинственное место?»  
 «О, Боже, сумасшествие заразно!  
 Он заразил им многих забулдыг,  
 И те по целым дням не просыхают,  
 За пивом ожидая приглашенья  
 На отправление в желанную Шамбалу...»

\* \* \*

Я огляделся. Странные создания  
 Нашли приют в замызганной пивной.  
 Опять же — патефон и Паганини...  
 И разговоры... Стоит лишь послушать —  
 О чем беседуют все эти алкаши...  
 Хотя бы тот мужик в прожженной робе,

С окурком «Беломора» на губе,  
Пытается соседу доказать,  
Что время для людей не существует,  
Оно — лишь миф, параметр удобства  
Для описания физических химер...  
А вот другой, в мышинной кацавейке,  
Он говорит сейчас, по меньшей мере,  
О философском месте бытия  
И связи с ним нетленного сознания.  
Медлительно потягивая пиво,  
Он объясняет другу своему,  
Что мы, мол, пограничные создания,  
Тончайший социум меж духом и дерьмом,  
И путешествие в пространстве пониманья  
Есть только выход за физический закон...  
Здесь мудрствуют о Логосе и Вере,  
Трактуют живопись Иеронима Босха,  
Насвистывают музыку Вивальди,  
И слышатся цитаты из Петрарки  
На чистом флорентийском языке...

\* \* \*

Тянулся день, спресованный в эпоху,  
И, допивая свой последний литр,  
Я понял вдруг ошибку старика,  
И всех, кто ожидает Дирижабль...  
Не их увозит облачный фрегат,  
*Но доставляет к ним саму Шамбалу,*  
На светлый пир души и интеллекта,  
К мелодиям Николо Паганини...

---

Ирина ЕРИСАНОВА

БЕЛОЕ НА БЕЛОМ

Ну вот и кончились года,  
затем и прожитые вами,  
чтоб наши чувства иногда  
мы звали вашими словами.

(И. Бродский. Памяти Е. А. Баратынского)

Сначала не было ничего, кроме внезапных остатков сердца перед каждым обрывом строки и мучительной работы мысли, не совпадающей ритмически с рифмой и дыханием. Так джазовая мелодия пульсирует внутри ритмических рамок, наслаждаясь мнимой свободой, чтобы в конце-концов уткнуться лбом в основной ритм, совпасть с граунд-битом и, не переводя дыхание, помчаться дальше — к следующему ритмическому ограничению.

Пока графика слов переходила в речевой эквивалент, затылок все время ощущал тепло бесплотной уже ладони, которая легким нажатием подчиняла ритму и превращала чтение стихов в спиритический сеанс.

Назвать ли имя?

Мешает детская боязнь додумать «страшную» мысль до конца, отпустить поводок воображения и... Нет! — говоришь решительно иходишь в темную комнату, вытягивая вперед руку с беспомощностью слепца. И тут что-то происходит со временем, оно начинает шалить. Длительность (или протяженность?) жеста увеличивается до размеров если не сюжета, то, по крайней мере, интродукции: и пальцы, начавшие путешествие волею хозяйского инстинкта, замирают на полпути в предчувствии *ужасной* цели... Но предотвратить встречу уже невозможно.

Назвать ли имя? Откликнуть ли?

Осмелюсь ли?

Все дело в деталях, подробностях, которые не стремятся быть названными, но всегда присутствуют где-то рядом, имеются в виду, и в *свой* час обретают автономность и незави-

симость. Целое распадается на фрагменты, каждый из которых, став самостоятельным, продолжает присутствовать в жизни целого. Что-то вроде фантомной боли. Кто помнит сейчас о том, чем занималась Навсикая незадолго до встречи с Одиссеем? Однако, запах свежевыстиранного белья преследует меня всякий раз, когда я смотрю на серовскую картину. Не моря и солнца, что само по себе соблазнительно, но и только, — а белья, выстиранного в море и высушенного солнцем. И это уже рассказ. Важна не только встреча, но и что ей предшествовало и что последует за ней. Важно не то, что сказано, а что предполагалось сказать и нет сил произнести. Паузы важнее слов, они-то и делают рассказ полным. Слово, сказанное вслед паузе, многозначнее и емче, ибо несет в себе отзвук этой паузы, отражение ее плотной чувственной жизни.

Поэзия занимается тем, что переводит паузы на язык слов.

Немногим это удается. Назвать ли имя?

Музыка вообще одна сплошная пауза. Обрушившаяся музыкальная масса сбивает с ног, отсекает дыхание и, лишая пространственной ориентации, вовлекает в водоворот ритмов и звуков. Шейная октава начинает звучать, вторя клавишнику. Гитарная дрожь восполняет нервные окончания, грозя внезапным обрывом. Позвоночник вдруг обретает поразительные хрупкость и гибкость, обнаруживая атавистическое родство с земноводными и — дальше — рыбами. Музыкальный тритон, ничего общего кроме имени не имеющий с представителями семейства саламандр, уже одним этим случайным совпадением рождает цепь ассоциаций, возвращая нас в океанические глубины. Туда, где хвостатый сын Посейдона и Амфитриты, поднося к губам раковину, извлекает долгую чистую ноту...

Живопись... Вот где простор для пауз! Многословие Каналетто утомляет, хотя и ошеломляет поначалу. Перегруженные подробностями картины этого венецианца напоминают багаж туриста, одержимого страстью покупок. Истинными поэтами Венеции стали все-таки Гварди и Лонги: их рассказ, может быть, и не вполне правдив, но чертовски заразителен. Любить *их* Венецию не составляет никакого труда, притом любить платонически, не претендуя на взаимность. Глупо ехать на поиски ее в саму Венецию, там мы скорее найдем все того же Каналетто, который, впрочем, уже сам превратился в паузу.

Иногда мне кажется, что произносить слово *Венеция* уже достаточно для насыщения чувств, так много оно в себя включает. Теперь вот еще одно имя...

Назвать ли его? Окликнуть ли?

«Лучше поздно, чем никогда» — утверждение, безусловно, успокаивающее, но абсолютно лживое. Лучше — *никогда*. По крайней мере, не будешь знать, чего был лишен. Мучительно ощутить в себе любовь к умершему только что. Вся твоя предыдущая жизнь, которая, может, и не устраивала тебя полностью, но хотя бы не раздражала этим очевидным (как сегодня кажется: невыносимым) *отсутствием* любви. Пусть бы оставалось одно лишь имя, произнесение которого не требует дополнительных усилий, но работает на репутацию. Когда любишь, репутация мало заботит. О самоотречении в любви не мною сказано. Как, впрочем, и все остальное. Самобытна лишь пауза. Вернее — чувство, ее заполняющее. Осмелюсь ли назвать имя того, кто игнорируя мое присутствие, выразил мои чувства точнее и полнее того, на что способна я сама?

Осмелюсь ли?

Труднее всего преодолеть привычку к сюжету, последовательному описанию передвижения тела в пространстве... Впрочем, если убрать цель этого передвижения, может получиться вполне артистично, будут иметь значение жест, интонация, пластика, высота звука. А главное — не будет соблазна заглядывать в конец книги. Как нет, например, соблазна заглядывать в письмо вермееровской девушки: *процесс* прочтения важнее знания о том, кто его написал и что станет с девушкой после. Фокус в том, что она *всегда* будет читать это письмо, а фрукты на блюде *всегда* будут свежими. Меняться будем лишь мы. И это, наверное, главное. Вермеер Дельфтский умудрился сделать паузу самодостаточной и тем приблизил живопись к музыке. Хотя это, конечно, совсем необязательно. Но как все-таки трудно отойти от этой картины. Однако наступает момент, когда и эта подробность чтения начинает утомлять, взгляд ищет *абсолютной* паузы и, скользнув чуть вправо и выше, находит. Это гладкая белая стена. Белая, белая — ибо какой еще цвет способен так рефлексировать старым золотом заходящего солнца?

Белый цвет — цвет паузы (а не черный, как думают некоторые). И для обозначения отсутствия нужен белый цвет.

И это не будет пустотой, потому что всегда можно взять карандаш и написать имя отсутствующего.

Осмелюсь ли?

Тишина белого цвета не имеет ничего общего с безмолвием замкнутого пространства. Это оглушительная тишина медоносного луга в июльский полдень, весеннего пруда на закате, концертного зала в момент *Dies Irae*.

Белый лист бумаги волнует совершенством несказанного. Прелесть его в том, что лишнее уже отсечено, а точка не поставлена. Апелляция белого листа к чувствам без посредников сродни музыкальному аккорду: так же ошеломляет и обезоруживает. Беспомощность склонившегося над ним очевидца, ибо неблагоприятна его роль — ему предстоит нарушить безукоризненность молчания несовершенством речи. Однако сделать это необходимо, несмотря на ничтожность повода: выговориться, освободить душу, дать толчок развитию сюжета, вступить в область личных отношений, выстроить драматургию жизни и ощутить неизбежность точки. Почему мы не пишем белым по белому?.. Так, как это делали, например, Шарден, Сезанн, Серов...

Терборх пропел гимн белому цвету, возведя его в квадрат, усилив фактурой тяжелого шелкового атласа. Прохлада струящихся складок не способна остудить обозначившееся колено так же, как бокал лимонада с золотым цитрусовым завитком не сможет охладить жара неизбежного прикосновения рук. И как завершающая точка, вернее многоточие, — *взгляд*.

*Белое на белом.*

\* \*  
\*

У меня на столе в хрустальной салатнице, слегка прикрытые прозрачным слоем московской водопроводной воды, смущают редкого зрителя розовой наготой изысканные гости из далекой арабской страны. Еще совсем недавно их чудесные тельца, выброшенные на песок ленивой волной Персидского залива, словно распутившиеся поутру цветы, украшали «берег дальний». Сегодня они — пленницы чахлой московской весны и тесной чертановской квартиры. Но этот маленький хрустальный заповедник — моя тайная и нежная страсть... Пальцы погружаются в воду и, нарушая ракушечный покой, цепляют ногтем волнистый край самой



большой веерообразной створки... Сейчас эта таинственная дверца приоткроется и за ней обнаружатся ослепительные сокровища «Тысяча и одной ночи»... С легким фарфоровым стуком раковины рассыпаются к хрустальным берегам, обнаруживая под собой пустоту просвечивающего унылым коричневым лаком стола. Заморский трофей лишь подчеркивает убогость жилищного стандарта. Утреннее солнце акцентирует нежные переливы красок и превращает этот оазис в наглядный пример робкого торжества замысловатого *модерна* над зыбким равновесием нашего бытия. Широкий жест ресторанный завсегдатай: от нашего стола — вашему столу.

*От нашего столетия — вашему столетию.*

Девятнадцатый век истаявал, сходил «на нет» редущими вишневыми садами. Срубленные деревья уже не плодоносили, но еще цеплялись за жизнь, выбрасывая тонкие анемичные побеги. Эта больная поросль оплетала замысловатыми виньетками заглавные буквы рождающегося века, превращаясь постепенно в чугунную вязь парадных ворот и искушающих соблазном полета балконных решеток. Особняки, оправленные этой бердслеевской вязью, раздражали капризной вычурностью многочисленную родню их странных хозяев. Беспутные купеческие дети транжирили унаследованный капитал на свое ракушечно-аквариумное царство, где кормили прямо из рук пугливых дриад и русалок. Добродорядочная практичность не желала мириться с эстетической дерзостью. Здоровый мощный организм сопротивлялся зреющей в глубине его недр нежнейшей перламутровой опухоли.

Так на рубеже прошлого и нынешнего столетий вызрел барочный жемчуг *Русского Модерна*.

Как веселое золото пушкинской лиры, растворенное алхимией времени, минуя взрыв «громокипящего кубка» тютчевской музыки, переплавилось в сумеречное серебро символизма, так океаническая страсть грезившего водной стихией российского африканца, прорвав временные плотины, выплеснулась в шехтелевский модерн, захватив с собой заодно «государыню-рыбку». Но это уже был излет волны, ее угасание и россыпь. Грудь «Метрополя» приняла на себя каскад брызг затихающей стихии и угомонила вовсе шопотом врубелевской Грезы. Могущественная рыбка, наказавшая дрянную старуху, живет теперь в музее на Волхонке, тычется мокрым ртом в толстое баночное стекло и молчит. Чело-

век, торговавший золотую пленницу у пахнувшего красками француза, по странному совпадению носил фамилию Щукин, что само по себе ничего не значит, но исходя из всего вышесказанного наводит на мысль о зеленой озерной прохладе. Она, как сноски в тексте, отсылает нас к драгоценной зелени серовского пруда в Домотканове...

Легким ознобом начинается эта сердечная маята по недоступной нам жизни. Редкие прогулки по траченным временам московским переулкам надрывают душу всегда внезапными и ошеломительными встречами с архитектурными миражами. С тем, что принято называть Русским Модерном.

То, что нам дано увидеть, увы, лишь хрупкая, пусть и золотая, скорлупка, оставшаяся после беличьего пиршества. Модерн завершался чистым изумрудным ядром. Это была архитектура, в которой стоило жить. Впрочем, *стоило ли?*.. Нет, не так — *возможно ли* было жить в этом омуте грез и русалочьих вздохов, в этой ловушке солнечных зайчиков и женщин-бабочек, в этих фантастических зарослях мебели, светильников и утвари? Нет, не так — *возможно ли* было жить во всем этом человеку, наделенному *воображением*? А тому, кто был лишен этого качества, стоило ли там жить?

Живая дверь захлопывалась за хозяином, отсекая реальную жизнь с категоричностью гильотины. Окна, обрамлявшие уличный пейзаж картинной рамой, подчеркивали это обстоятельство. Висящий на стене *натюрморт* возводил смерть вещей в эстетическую ценность и вопреки жанровому определению ставил между Смертью и Жизнью знак равенства.

Шехтелевские дома смущали хозяев соблазном «не быть». Этот соблазн напоминал болезнь: легкая простудная дрожь сменялась горячечным ознобом. Архитектурная аритмия и световые эффекты кружили голову и воспаляли воображение. В лиловом сумраке прихожей мерцала глазами и разворачивала тяжелое влажное крыло врубелевская Царевна-Лебедь...

Огнедышащая пасть камня, наподобие чешуйчатого дракона из страшной детской сказки, не согревала, а норвила испепелить озябшего хозяина. Жаркие саламандры, давным-давно освободившиеся из янтаря весело трещавшей пушкинской печки, исполняли здесь свой завораживающий танец. Редкие из них вырывались на волю. В огненном росчерке их полета можно было узнать привычную подпись... Потом беглянки обнаруживались в медных и серебряных из-

ваяниях, украшавших пепельницы, вазы и светильники. Под пристальным взглядом их немигающих глаз хозяин дома превращался в поднадзорного. Однако не тяготился этой неволей, ибо совершенно очевидно любил своих соглядатаев, свидетелем чему посверкивающие темячки миниатюрных рептилий, хранящие нежные прикосновения хозяйской руки.

Надо сказать, что вещи в тех особняках соперничали с людьми в одушевленности и стремились любым способом выразить эту свою одушевленность, выбрав объектом своей тайной и страстной любви того, кто считал себя их владельцем. Дверная ручка плавно перетекала в руку, превращая обычное открывание двери в красноречивое рукопожатие. Так робкие и неопытные влюбленные, преодолевая мучительную застенчивость, норовят незаметно коснуться друг друга и всякому нечаянному прикосновению придают особый смысл и видят в нем знак Божьей милости. Легкий раствор чувственности наполнял до краев архитектурный модерн, придавая всякому жесту, слову, взгляду еле уловимый оттенок бесстыдства. Эротизм Русского Модерна был замешан на целомудрии, отчего еще больше мучил сновидениями.

Все здесь было «слишком», чрезмерно, «за край», «из ряда вон». Но поскольку эта чрезмерность была общим правилом, вряд ли стоило апеллировать к тому, что принято называть вкусом. Здесь царил грандиозный театр вещей, и задачей каждого персонажа разыгрывавшейся в нем драмы было не потеряться в толпе себе подобных, не умереть в начале первого акта, а с достоинством и триумфом выйти на поклон в финале. Тут правила законы сценического действия и этим законам подчинялась жизнь вещей. Выньте любую из них оттуда, вынесите за пределы здания — и вы увидите, как быстро померкнет их очарование, увянет пышная красота и под толстым слоем грима обнаружится болезненный чахоточный румянец. Про таких говорят — *нежилец*. Чтобы жить, этим капризным вещам: пудрицам, светильникам, пепельницам, вазам, подсвечникам, столам и креслам — нужна питательная среда модерна, «рыбий жир» газовых ночных фонарей, крепкий настой духов и туманов и, разумеется, окружение себе подобными. Всякое соприкосновение с так называемой «реальной жизнью губительно для них почти так же, как свежий воздух для заточенных под землей античных фресок Вечного Города. Только в случае с итальянскими сокровищами мы вместе с Феллини наблюдали их физическую смерть, а в случае с вещами модерна

мы становимся свидетелями их эстетической агонии. Живые фрукты, положенные в специально предназначенную для них серебряную вазу, разоблачают это мнимое предназначение: ваза хороша сама по себе, она прелестна своей бесполезностью. Цветочный сосуд, витиеватый и многословный, соперничая с живой розой, проигрывает этот поединок: роза никогда не бывает пошлой. И только мертвые имортели органично вписываются в маленький серебряный вихрь.

В сухом шелесте бессмертника слышится чудная аллитерация имен: Шехтель, Кекушев, Шусев, Шервуд, Иванов-Шиц... И где-то внутри ими созданных архитектурно-интерьерных взрывов, вихрей, смерчей и каскадов затихает, погромыхивая, усмиренная камнем и металлом капризная стихия: Рябушинский, Морозов, Держинская, Бржозовский... Русский Модерн...

Вода в моем хрустальном водоемчике испарилась, обесцветив горстку сухих, невыразительных раковин. Грустно наблюдать смерть моего модерна. Принести воды?..

---

Антон ЛЫСАКОВСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РОМАНУ-КОНТРАКТУ

№ 1/99 от 02.12.199 . . .

являющееся его отъемлемой частью

*Не для печати, а ради пославшей меня  
Светланы Василенко...  
Ей же и посвящается...  
Вместо автобиографии (литературной)...*

Однажды, в период работы над собой и текстом выше-обозначенного опуса автора странным образом занесло на Всероссийское совещание молодых писателей, где он примерил первый литературный псевдоним — Асламбек, и сразу после совещания написал вот это...

Побег Асламбека

*Бежит он, дикий и суровый,  
И звуков и смятенья полн,  
На берега пустынных волн,  
В широкошумные дубровы.*

(А. С. Пушкин)

Асламбек вышел в тамбур... в нос ударил резкий запах прегара, дорожного разговора и табака... Вот она — настоящая Россия! Хорошо-то как! Вокруг Асламбека сгустился дымок дешевых сигарет и липкие ленточки пьяной беседы... грубоватой и незатейливой, зато с элементами печали и самовыражения...

— Эх, хорошо! — повторил Асламбек и на всякий случай еще раз оглянулся.

Погони не было.

Асламбек спешно возвращался с внеочередного 27-го семинара молодых российских писателей и фантастов, убегая не столько от оскорбленной им час назад милиции, сколько от воспоминаний...

...Асламбек радостно брел вдоль главной аллеи зимнего санатория. По сторонам в снегу резвились молодые поэты.

Асламбек застеснялся и поспешил удалиться, чтобы не смущать... Но от судьбы не уйдешь... Асламбака уже обгоняла одна поэтическая пара (разнополая).

Он решил повалить Ее.

— Только не в снег! — вскричала Она — Я же в Шубе!

И Он интеллигентно завалил Ее на утоптанную и аккуратно посыпанную песком и солью аллею... рядом с фантастически желтым сугробом... и Сам прилег рядом.

— А как ты пишешь, лежа? — Любопытствовала Она с романтическим придыханием, и тут же продолжала щебетать. — Я, например, только лежа и перед сном... Ну что ты щипсея, Бальмонт!..

Каждый поступок молодых поэтов на семинаре был старательно подготовлен, был продуман с новой строки, и потому с Большой Буквы, правда, некоторые поэты умудрились-таки, завалив свою Музу в Снегу, так подвернуть Рифму, что потом еще долго эта Рифма хромала, бедная.

— Счастливые, — подумал Асламбек, и ему захотелось тоже кого-нибудь завалить... Для чего Асламбек вернулся в главный корпус... Но опоздал. Писатели уже толклись кужину... Интеллигентно пихались и спешили занять столики...

— Вообще, эти писатели молодцы, — завидовал Асламбек, — и практичные, и пророки и провидцы, и в бурной массе своей понимают, что если не поспешишь — опоздаешь, не появишься в нужном месте вовремя — будет поздно, не прыгнешь к автобусу — потом в этот автобус уже не залезешь, кто-нибудь займет там все места для кого-нибудь, вряд ли для тебя, дядя... не съешь сегодня порцию соседа — завтра останешься голодным, потому как сосед всенепременно съест уже твою порцию, если проникнет к приему пищи раньше тебя... А столики для приема пищи за писателями так и не закрепили... не пофамильно, не поименно, не по номерам...

Сама писательская пища (пайка) не отличалась ни кулинарными, ни литературными изысками, вместе с тем, была регулярной и демократичной — хочешь ешь, хочешь не ешь, никто не заставляет. Писатели ели. Например вот это: на обед — одно яйцо вкрутую в скорлупе, одна котлета в тарелке и один гарнир, там же еще компот. А вот когда давали чай или суп, то этого добра пей вволю, немеряно... Огромная кастрюля или чайник на брата по перу (на каждого четвертого).

И семинаристы и руководители семинаров за едой были как бы равны. Хотя руководителям пережевать писательский съезд было труднее. Возраст, во-первых, такой, что не к ночи сказано, всякое может случиться, если уж самим молодым писателям в среднем под сорок, что уж про наставников можно сказать, чтобы не обидеть, молчать, слушать, беречь и молча с них пылинки стряхивать, и то аккуратно, во-вторых — мозг, маститые мозги нехорошо потели, круглосуточное заглатывание молодой литературы отбивало охоту к чтению, но аппетит бытовой, желудочный, только усиливало. Мозг литературного мэтра средней величины безрассудно тратил с трудом добытые из макарон калории на запоздалую попытку понять, о чем пишут молодые, с какого места начать знакомство с рукописью, чтобы с наименьшими потерями ее одолеть. Наиболее опытные руководители использовали борцовские навыки — подсечки, захваты и болевые приемы... Например: «Я Вас так и не смог прочитать» (подножка), «потому что сам пишу в другом жанре» (захват), «но я посмотрел, чем там у вас кончилось, и признаюсь, не понял...» (болевой прием), молодой автор готов удавиться, но именно для того, чтобы смертоубийства не произошло, его принимают в союз писателей (нокаут) и даже награждают литературной премией в 1 миллион рублей, это в случае, если он бедный, т. е. у него по мнению приемной комиссии денег еще меньше, чем у других семинаристов... А чтобы вынутый из петли счастливцев не зазнался и не упился до смерти, теперь уже от радости, в кулуарах многострадального пансионата немедленно пускают слух о том, что премии действительно присудили самым бедным, а остальным не присудили не потому, что они пишут плохо, недостаточно хорошо или хуже других, а потому, что их не считают нищими, такими нищими, как лауреатов... И как бы в подтверждение, один из лауреатов немедленно заявил, что на полученную премию он наконец-то купит себе штаны. Но ему премию дали бы все равно, даже если бы у него уже были штаны, так как у него имелся еще и талант, публикации, картины и кинокартины и фундаментальный имидж бедного незащитного сельского парня, гения... Его и так все жалели, особенно женщины... Асламбеку он тоже нравился, потому что земляк... Их родные аулы были почти рядом, и традиционно никогда не враждовали... К тому же тихий душевный свет, исходящий от земляка, и скромное полукруглое сияние над слегка по-

тупленной головой прямо-таки освещали ночное семинарское застолье, к тому же земляк старался не пить... и не только в компании, но и в одиночестве, хотя и проболтался по пьяни, что как живописец предпочитает пить один.

Освещало семинар и телевидение... Асламбек отметил, что телевизионщики в душе тоже писатели, потому что тоже любят «испить зелена вина» и после поснимать на камеру... под этим делом... Зачастую остограмленные телетворцы даже брали интервью, правда, все больше у одних и тех же руководителей, — у Маканина, Набокова и Битова, — Асламбек не запомнил точно — у кого еще, хотя прозаики из постанекдотчиков после третьей рюмки обязательно поминали Довлатова, но Асламбек его так и не встретил ни в одном обкуренном кулуре, хотя многие авторы говорили, что про них говорят, что они пишут точно так же, как Довлатов, и говорят, что они пишут может еще и лучше...

На семинаре был еще и Ким, но все больше в тени... Скромный какой-то...

Радио было представлено Катей... История знакомства Кати и Асламбека требует особой главы...

Катя знала больших и великих... причем еще при жизни... и поэтому трудились на радио Маяк... Большая, веселая и добрая она была гением литературного застолья... Живым ходячим позывным...

На ее молчаливые ироничные эфиры слетались, как мухи на мотылек, самые человечные Писатищи, мужчины в основном, а также настоящие поэты, которые не только говорили сами, но и пытались услышать других, а еще и молодые Писательки, которые были счастливы, что Катя их не читала и поэтому у них есть шанс... ведь с кем только из бессмертных она не пила! При этом Катя никогда не напивалась окончательно, например, в доску, в зюзу, в стельку или в туфлю, но украшала застолье со времен сотворения мира (союза «Рос-Пис») и даже раньше, вдохновляла изысканное общество наиболее современных авторитетов литературы, театра, кино и бизнеса, поочередно пила на ты со всеми, кто хоть мало-мальски представляет искусство России в далях дальнего зарубежья и видится, по крайней мере сейчас, в историческом плане... Катя сама могла рассказать короткую увлекательную историю, любила слушать, умела разговорить всех... зачастую в ее походном салоне говорил сразу весь застольный коллектив, иногда по кучкам, иногда



даже кто-нибудь один, причем остальные в это время и не закусывали, а только слушали! Удивительно, но правда!

Асламбеку понравилось в гостях у Кати и ее подруги по комнате, которые бескорыстно жертвовали своим сном и жизненным пространством ради небольшого, но общего литературного дела. Катя была добрая, поэтому никогда никого не читала, чтобы потом ненароком не обидеть, за исключением друзей... К тому же постоянное общение с великими требовало времени, а времени на их прочтение просто не оставалось... Да и к чему собственно их читать? — Внимал Асламбек Кате. — Свои самые-самые умные мысли великие высказывали Кате лично, вживую, непосредственно за столом или рядом.

— Главное, чтобы человек был хороший, — зачастую приговаривала Катя, пресекая коварную попытку навязать ей знакомство с очередной рукописью молодого дарования, — и Асламбек не мог с ней не согласиться... Асламбеку у Кати понравилось, чего уж греха таить... Асламбек вообще любил писателей... потому, что писатели — молодцы! Но писатели не любили Асламбека... особенно хорошие и некоторые... потому что были бедны, а Асламбека считали состоятельным предпринимателем, который «на халяву ест их хлеб». Асламбек же себя предпринимателем не считал, не считал себя и богатым Асламбеком, впрочем, и чем-нибудь еще, но не потому, что не умел считать, считать ему нравилось, он даже на всякий случай перед отъездом написал «как бы роман», — к чести Асламбека самый короткий из подобных произведений, представленных на семинаре, к чести писателей, его (роман) так никто и не прочитал, но все равно отметили и нашли для автора мягкие успокаивающие слова, типа — это все еще можно напечатать... — Конечно можно, — согласился Асламбек, особенно если есть на чем! Потому что в тайне Асламбек знал, что у него есть персональный компьютер и личный принтер, так что уж, — что-то, а распечатать свой роман он сможет в любой момент, когда захочет, но после семинара что-то не хотелось, как, впрочем, не хотелось (страшновато было) и до... Асламбек в глубине души догадывался, что пока ни к чему хорошему это не приведет, так как убедился, что графоманов, в том числе и всероссийских, и так по стране с избытком, но почему-то стеснялся отнести себя конкретно и насовсем к какой-нибудь любой другой социальной, профессиональной или партийной группе, обществу или среде... Так вот и

жил — свой среди среды... На семинар он попал случайно, по знакомству с организаторами семинара, и кое с кем из основных семинаристов, но перед отъездом честно написал роман, чтобы соблюсти приличия... Для писателей он был предпринимателем, для предпринимателей — посредником, для посредников — спортсменом, для спортсменов — бандитом, для бандитов — артистом, для артистов — директором художественным руководителем, для руководителей — спонсором, для спонсоров — просителем, для просителей (должностных лиц) — давателем, для прокуратуры — взяточдателем, для взяточдателей — взятокопередавателем, для взятокобрателей — приятным деньгозабывателем...

Асламбек не был мусульманином, не принадлежал, впрочем, и ни к какой другой конфессии, обществу или союзу, а был вынужден жить сам по себе и быть не более как обычным Асламбаком, хотя и не без приятности...

Однако при всех ситуациях у Асламбака всегда имелся «рояль в кустах»... В любой момент в случае профессиональной несостоятельности или неудачи он мог легко уйти от возможной обиды со стороны коллег (бездарь, неудачник и т. п.), сославшись на то, что в другом жанре (мире) он вроде как и мэтр (с кепкой), а здесь так, по случаю, любитель... пришел посмотреть что тут у вас да как... побалдеть... Асламбек обалдело смотрел по сторонам...

Случилось так, что по роковой случайности Асламбака не приняли в российский союз писателей общим списком... Зато весь семинар обратил на него внимание и искренне, совсем по человечески заперезживал, — Старик, ты не обиделся, что тебя не приняли? А? Ты как вообще? — Асламбек страдал, потому что не мог найти слов, чтобы они поверили, что он не обиделся... А может таких слов в русском языке и не было никогда... еще не придумали... Он хотел было ответить семинару на своем, на асламбаковском, но вовремя догадался, что его все равно не поймут... Асламбек сдался и сделал вид, что расстроился, чтобы никого не обидеть, сообразив, наконец, что если бы он не расстроился, то обидел бы тех, кого приняли, тем, что не обиделся, что не приняли его... Как сложно тут все, — сожалел Асламбек, — а в принципе, писатели — тоже люди, и среди них попадаются очень даже хорошие.

Асламбек обалдело смотрел по сторонам...

— Сколько живу, век такого не видала, — причитали старушки горничные по гулким и сонным утренним коридо-

рам пансионата, — Мы их так ждали, так готовились, а они вазу с пальмой разбили... двенадцать лет росла пальма, два съезда артистов пережила, а эти разбили... втихаря, и курят себе...

— А я к одной захожу, так у нее носок один в одном углу комнаты, а другой в другом! И курит!

— Я все понимаю, они люди творческие, но зачем? Не понимаю...

— Все целые горошки с цветами окурками закидали, дома-то, небось, так не свинячат...

— Дома жена по башке даст, а здесь кто?

— Ой давеча один очкастый как даст другому... тот и с копыт... доктора вызывали, а кровящи-то, час убиралась...

— Господи, когда они съедут, писатели окаянные...

Из причитаний старушек, а также из подслушанных кулуарных и, собственно, семинарских бесед, Асламбек уяснил, что писатели России любили подраться, а немолодые российские писатели образно рассказать, как дерутся русские писатели с крупными литературными именами. Например: «подрались как-то в ЦДЛ Битов с Набоковым, потом помирились и надрались со мной и Вознесенским... до чертиков, черти эдакие»...

А молодые российские писатели, попив с немолодым уже Меломедом, просто дрались, между собой, непосредственно в коридоре или в комнате, но всегда при свидетелях, чтобы последние, во-первых — своевременно их разняли, а во-вторых — дали возможность попасть в историю российской литературной драки, а один поэт даже прыгнул в снег с балкона на пятом этаже, некоторые руководители семинаров били в прыжке стеклянные двери, накладывали друг на друга швы и обеты молчания, даже нелитературный вполне Асламбек, поддавшись всеобщему искушению, для приличия выбил-таки ногой ветхую дверь в свой номер, потому что был пьян, а дверь была заперта, а ключ искать не хотелось, хотелось минимальной литературной славы, признания писательского дара (удара ногой, «моваша гери в ручку»). Наутро, проспавшись, Асламбек починил дверь и узнал что семинар закончился, а ему надо уезжать... Перед отъездом и в дороге он определил происходившее здесь с ним и без него крайне коротко — суета...

Асламбек смотрел по сторонам, назад в недавнее прошлое и вперед, в неминуемое будущее... И видел, что:

Суэта здесь правит бал... Участники закончившегося семинара торопились читать, наработать связи и контакты, необходимые для публикаций, спешили поесть и наобщаться, поэтически настроенные поэты спешили влюбиться или хотя бы влюбить, — спешили, спешили, спешили... И в результате — наобщались... — убитых, слава богу, не было, — были раненые, с диагнозом ушиб сердца, диагноз сугубо медицинский без доли юмора, результат падения с пятого этажа, были порезанные и побитые, несколько раз приезжала скорая, откачали всех, еще были писатели получившие алкогольное отравление и заветный членский билет — билет... — вспоминал Асламбек... Он, собственно, по неопытности перед отъездом на семинар надеялся на встречу с неторопливыми степенными богатырями русской литературы, на возвышенную атмосферу бесед с представителями высокой литературы Москвы и Питера, подкрепленную незримым влиянием старинных монастырских земель Ярославщины, прекрасного русского края, где не так уж и давно творил Некрасов... О Некрасове же в процессе семинара так никто особо и не вспомнил... так, упомянули формально, назвав ярославскую землю почему-то родиной поэта... хотя усадьбу в Карабихе Некрасов купил уже вполне зрелым человеком и известным поэтом... Но родился-то физически и как классик великий русский поэт в совершенно другом месте (уезде)... Литераторы с высшим литературным образованием могли бы и знать. Впрочем, могли и забыть... Писатели тоже люди... Над президиумом семинара сиротливо болтался маленький портрет великого Пушкина, портрета Некрасова почему-то не было... Участникам семинара, тем кто успел к «раздаче слонов», выдавали на память книгу Солженицына... тоже великого русского... Закрывал семинар почему-то великий политик А. Яковлев, пока из бывших, но вполне демократ, а там еще неизвестно, как что повернется на выборах... На семинаре Яковлев выступил в качестве нового русского, пожертвовав на премии молодым литераторам десять миллионов рублей от правозащитного фонда имени себя, несколько раз назвал адрес штаб-квартиры фонда в Москве, звал в гости, ругал «фашиствующих коммунистов в храмах со свечами в кровавых руках» и декламировал что-то еще в этом же духе, никто не запомнил (поэтому и предыдущая цитата не вполне точна), но обещал и в дальнейшем помогать культуре материально, — это запомнили. Его речь снимало телевидение, а если учесть, что стоимость 1 минуты рекламы

на Останкино для организаций и частных лиц — около 15 000 долларов, (где-то 75 миллионов рублей России), то понятно, что Яковлев мудр, а организаторы фестиваля щедры и люди совсем не коммерческие, — надо бы слупить с фонда побольше, — сетовал Асламбек, — хотя бы половину стоимости, хотя б за 3 минутки эфира, это как минимум, ведь политик говорил в камеру не менее получаса, хотя бы миллионов сто пятьдесят или соточку, на худой конец, но уж никак не десять... Кстати, никто и не подумал спросить у неглупого политического спонсора — «откуда дровишки?», — откудова, собс-тно, и эти немалые деньги у вновь-созданного фонда имени пожилого человека, прижизненно возглавляющего фонд...

Асламбек смотрел по сторонам и балдел...

В тамбуре плацкартного вагона было все так же грязно, темно и многолюдно. Трезвых по-прежнему не было, — уже лет пять наверное, — верно подметила в воображаемой беседе с автором рано подурневшая молодая проводница, отнюдь не воображаемая. — Вот она настоящая Россия!.. — и Асламбек еще раз оглянулся, на всякий случай... Он бежал с семинара молодых российских писателей не потому, что представленные там писатели ему не понравились, напротив!, — Асламбек возвращался в Белый Стан чтобы самому начать писать, писать для себя и вот для них, для людей, представленных в тамбуре, для искренних, по-своему добрых даже в приевшейся пьяной злобе, загадочных и простых плацкартных людей. Правда, в настоящий момент он был для соседей неприлично трезвым сопассажем. Но они все-таки понимали, что это как раз поправимо, даже предлагали выпить, — держи, за компанию, — согреешься, вишь тебя как, — потому что все равно любили Асламбека, и пусть авансом, — но любили! Любили себя, дрожащий фиолетовый мир насквозь прокуренного тамбура и ухабистую дорогу, а какой русский не любит сочинять?..

Благополучно добравшись до родного аула, Асламбек первым делом принял пенную ванну. Впрочем отмокал он до неприличия недолго, нарушая тем самым вековые дорожные традиции исламбекского народа... С давних времен исламбеки по возвращении из чужеземных странствий очищались водой — умывали руки, принимали ванну или просто несколько часов сидели в родной реке, озере или в небольшом тазике для стирки белья. А потом пили чай. Наш Ас-

ламбек жил в пятиэтажном ауле сталинского типа со всеми удобствами. Большую часть полуторной хижины занимала ванная, оставшееся пространство — диван и кухня, еще — кресло и столик для компьютера. Гости в жилище заходили редко, и если не умещались на диване, то сидели на полу, по-восточному, или, по желанию, стояли. В хижине Асламбека размещался еще и «Оффис», но места он занимал совсем немного — столик для факса, круглая печать и угловой штамп иностранной фирмы, которой иногда руководил Асламбек. Самой фирмы как бы и не было, ни «Де Юре», ни «Де Факто», но печати и телефонные звонки время от времени приносили деньги, иногда, к удивлению Асламбека, деньги немалые и по московским меркам. Природу загадочного процесса превращения телефонных звонков в доллары Асламбек так до конца и не постиг в силу природной лени и ментальности (в переводе на асламбекский — «огульная млявость и абыякавасць да жыцця»), но сам процесс ему нравился. Нравилось Асламбеку и нежиться в маленькой теплой ванной, совмещенной с санузлом и кабинетом. Но сегодня там как-то не сиделось и не купалось. Под белой ароматной пеной кишели неосторожно занесенные с писательского семинара жесткие литературно-семинарские ритмы и злые бактерии московской деловой суеты.

Асламбек насухо вытерся и подошел к зеркалу. Из зеркала смотрело нечто обидно писательское, скорее графоманское, уточнил Асламбек и удобно устроился за клавиатурой компьютера.

Лицом к лицу, — записал Асламбек, и снова вспомнил. На обсуждении рукописей молодого талантливого фантаста из российской глубинки растроганный ласковыми словами присутствовавших начинающий литератор искренне посетовал на скудость редакторского мышления издателей родного города. В качестве примера рассказал, как местная газета изменила название его рассказа без хотя бы устного согласования с автором, более того, произведение не дошло до читателя полностью, опубликованы были лишь самое начало и часть середины истории. Автор три дня придумывал неизбитый заголовок, а пожилая редакторша изменила его на нечто банальное — «Странный день».

— А как у Вас звучало первоначально? — осторожно поинтересовалась выдавшая виды соруководитель семинара (прозаик, критик, драматург, по совместительству еще и соучредитель как семинара, так и самого правления СРП).

— «Дорхи в пути, или люди-звери», — задыхал автор. И продолжал бы говорить о проблемах провинции еще долго, пользуясь интеллигентностью руководителей, а надо отдать должное — слушать они умели и даже любили, несмотря на то, что им самим было что сказать, но тут подоспел обед. Час приема пищи прекращал прения, выступления и даже конфликты, служил как бы подсознательным миротворцем и даже — умиротворителем. Асламбеку как-то даже подумалось, что если бы войска ООН сменили белые каски на белые маски, то положили бы конец межнациональным и розням, и войнам, и козням, потому что ни один, даже самый воинственный народ, не в силах бороться с сытостью. Он даже решил написать об этом в ООН, но позднее, после обеда, потому что сытый голодному не товарищ.

Да, а его новый товарищ по семинару, начинающий фантаст, по собственному утверждению, еще и служил в армии, в подразделении связи, в войсках, род которых скромно умалчивал, но после третьей или четвертой попытки заинтересованных слушателей скромно и тихо сказал — в десанте. В подтверждение сказанного, в процессе семинара он не расставаясь с газовым пистолетом девятого калибра, даже во время еды. Носил его в кожаной кобуре на поясе, так чтоб не совсем «на виду», но было заметно, — не трожь наших. Асламбек как-то робко обозвал пистолет — бластером... Но не был застрелен на месте, а напротив, награжден доброй улыбкой космического друга. За что вооруженный романтик фантастически понравился Асламбеку.

Большое видится на расстоянии, — записывал Асламбек, и вспоминалось семинарское — «Люди-звери». Асламбек совместил, и получилось следующее: Большое скопление писателей не вмещается в узкие рамки, тем более в здание небольшого пансионата. Тесно великим. Негде «разбежаться мыслью по древу, яко соколу...» и в уютной тишине уточнить цитату. Даже в зоопарке для крупных хищников, медведя или тигра, например, оборудуют отдельный павильон, а не запихивают в тесную клетку, и даже замученных неволей и кочевой жизнью цирковых животных время от времени выпускают порезвиться на более-менее просторную арену... И уж никогда не поселят в одной клетке льва и собачку, например. Разве что — литературную.

В предместьях Карабиhi писателей, даже крупных, селили по двое в одной комнате 3×4,

В комнатах же проходили и семинары, где скапливалось одновременно до дюжины писателей разом. Самые многочисленные семинары (несколько десятков слушателей) собирались в небольших фойе, на четырех рядах откидных кресел перед телевизором. Телевизор на время семинара отключали, но вот отключить спящий через фойе к лестнице и обратно поток обитателей пансионата, зачастую не вполне трезных, но явно равнодушных к обсуждению, а потому неприятно шумных, — не было решительно никакой возможности. Уединиться возле Карабихи было трудно как семинару, так и отдельно взятому литератору. А поскольку известно, что только уединение делает писателя читателем, настоящих читателей на совещании катастрофически не хватало. Писатели поедали сами себя. Изголодавшись по общению с братьями по перу, на радостях в пух и прах громили если не друг друга, то современную литературу, издателей, читателей и назойливую бедность, прицепившуюся к литературному сословию во времена развала союзов как писателей, так и республик. На природе литераторы тихо зверели (в лучшем смысле этого слова), делили сферы влияния и метили территорию словом и делом, кто как умел, кто о чем мечтал.

Кроме всего прочего, союз российских писателей экстренно размножался, вот-вот ждали появления сорока новорожденных членов-малышей, а вы спросите у любой мамы — легко ли родить? И в каком настроении она рожала, и что при этом говорила, и что говорили в ответ опытные бесцеремонные акушеры... Инстинкт размножения и самосохранения загоняет беременных медведей в берлоги, волков в логова, птиц в гнезда, писателей в Карабиху, укрытых от случайного взгляда глубоко в дебрях... И не дай господь вам случайно побеспокоить медведицу с маленькими медвежатами...

Вдали от цивилизации (от Москвы), в ограниченном пространстве и временем месте организаторы семинара бережно, но так неосторожно собрали большую группу больших талантливых людей, талантливых — по мнению организаторов фестивалей, больших — по глубоко личному убеждению, плюс еще и пресса в нетерпеливом ожидании «жареного» (сенсации или хотя бы скандала). Ружье заряжено, но был ли выстрел? Трудно ответить, чтобы никого не обидеть.

Толпа писателей боялась опоздать, — сказал бы поэт. А вот что сказали о толпе писатели А. В. Гостюшин и



С. И. Шубина в книге «Азбука Выживания», написанной очевидно под влиянием посещения митингов и семинаров, в том числе и литературных:

«Ряд исследователей считает, что толпа — это особый биологический организм. Он действует по своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных составляющих, в том числе и их сохранность. Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или аварии, которые ее образовали.

Исследования Е. Карантелли показывают следующие характерные черты паники:

— направление бегства при панике не является случайным (выбор за знакомой дорогой или той, которой бегут другие)

— человек, охваченный паникой, плохо соображает, хотя полностью его действия логики не лишены. Проблема скорее в том, что он не ищет альтернативных решений и не видит последствий своего решения; иногда главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке с обреченно большой высоты.

Все сказанное свидетельствует: остановить толпу может или сильнейший эмоциональный тормоз, или чудо. Именно к чудесам следует отнести случаи, когда сильному волевому человеку, пользующемуся доверием собравшихся, удавалось предотвратить драматическое развитие событий. Другие средства — категорические команды, горячее убеждение в отсутствии опасности и даже угроза расстрела паникеров».

Но российских писателей согласно законодательству расстреливать пока нельзя, отставных командиров в числе организаторов семинара не было, а горячее словесное убеждение «не пить!» от лица брюнетки Светланы и молчаливый укор алкоголикам со стороны шатенки Людмилы, взваливших на себя основную ношу руководства процессом, и даже отчаянные попытки прекратить поступление спиртного в санаторий путем внезапного закрытия местного винно-водочного магазина личным распоряжением главы местной администрации, явно симпатизирующего милым женщинам, не возымели должного действия. Писатели потянулись в квартиру номер пять, что в рабочем поселке на втором этаже дома номер шесть, что напротив главной дырки в заборе санатория. В вышеупомянутой квартире водку можно было купить круглосуточно.

Воспоминания о выпитом доконали Асламбека, он переоделся, вышел в город, поменял оставшиеся российские деньги на местные, асламбекские, купил в палатке бутылку «Столичной» и поехал пить совместно с друзьями читателями, не забыв при этом занести все вышеизложенное в компьютер и выключить его.

---

Татьяна ЛУКИНА

### СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

*Читать чужой дневник необычайно интересно. Это все знают. Но такой дневник, как этот, интересно вдвойне. Его автор — Таня Лукина родилась во Львове. Ее мать — ассирийка, отец — русский. Сама она католичка. Детство и юность провела в Ленинграде. Закончила факультет журналистики и актерское отделение училища при консерватории. В 1978 году уехала на Запад, где были Рим и Милан, Нью-Йорк и Париж, Иерусалим и Женева, и, наконец, Германия, Мюнхен, ставший для Тани чем-то вроде «второй родины». Она и сейчас живет в Мюнхене, руководит ею же созданным русским культурным центром «MIR». Впрочем, нет смысла пересказывать биографию Лукиной: читатель получит великолепную возможность узнать ее из первых рук. А я могу лишь сказать, что, прочитав этот вполне случайно попавший мне в руки текст, испытал совершенно необычное чувство. В дневнике сошлись сразу три весьма редко встречающихся в жизни обстоятельства: во-первых, очень красивая женщина, во-вторых, феерическая судьба, и, в-третьих, ярковыраженная склонность к занятию литературой (Таня когда-то выпустила сборник стихов). Дневниковый жанр как нельзя лучше соединил все это вместе. Не написать записки Тани Лукиной оказалось просто невозможно...*

А. Михайлов

---

23 июля 1980 г., Париж

Ровно два года назад я проводила свои последние бессонные ночи в Ленинграде. Бессмертный город Петра был ненавистным для меня в эти июльские дни, а белые ночи являлись только продолжением мучительных черных дней, когда решался мой вопрос о разрешении мне выезда с советским паспортом на Запад.

Я рвалась туда, как путники пустыни рвутся к морю, как обмороженные пальцы тянутся к огню, как губы влюбленного стремятся к устам своей возлюбленной, — так я стремилась всем сердцем, каждой клеточкой туда, на Запад.

Мне казалось, что все в моей жизни перевернется вверх дном, что все, что не удалось мне в России, мне удастся на Западе, что все, чего я не достигла здесь, я достигну там. Жажда увидеть своими глазами то, что не дано увидеть каждому россиянину, жажда постигнуть все своим умом, жажда еще раз подбросить монетку вверх и испытать: орел или решка — вот что тянуло меня.

На вопрос приятелей: «Ты вернешься назад?» — я отвечала несколько вызывающе: «Я вернусь только в том случае, если меня там, в том мире, будут каждый день бить палками; если же будут бить только через день, то я никогда не вернусь!» На меня смотрели недоверчиво. «Ничего, ничего, — думали некоторые, — жизнь покажет!»

Забравшись с ногами на старенький диван и окруженная искренне любившими меня людьми, я рассуждала: «За одно счастье увидеть Париж я отдала бы полжизни, и даже если на следующий день мне придется умереть, я скажу: «Господи, спасибо Тебе, что Ты мне дал такое!»

Моим словам завидовали, потому что мало у кого была такая решимость в жизни и было такое стремление отдать жизнь за прекрасное. Но я не имею права гордиться этими чертами, т. к. они не принадлежат мне врожденно, они просто исходят из сложившейся жизни моей, в которой я никого не имею, никому не принадлежу и ни с кем не связана...

Мамой меня еще никто никогда не называл, животными я не обременялась, а мои возлюбленные ждут расставания со мной с такой же жаждой и нетерпением, с какой заключенный ждет своего освобождения. У меня есть два брата, которые меня не любят, мать, которой я безразлична, и отец, который любит водку больше, чем единственную дочь. С годовалого возраста я живу вне семьи, воспитывали меня все, кому не лень, а заботился каждый по-своему.

И вот результат: мне уже 30 лет, а у меня по-прежнему нет семьи, нет дома, и никакой самостоятельности. Гордиться мне нечем и уважать себя не за что. Природа дала мне хорошую внешность, но она захоронена мною, как вещь не просто вышедшая из употребления, но даже никогда не бывшая в употреблении. Мой ум, которым я, вроде, и обладаю — играет со мной злую шутку. Умение видеть больше,

чем надо, вызвало во мне привычку говорить то, что не следует, а, значит, говорить глупости... Я будто бы легко отличаю дурака от умного, доброго от злого и скупого от щедрого, но все это не играет в моей жизни никакой роли и не имеет никакого значения, потому что я хронически жду чуда там, где его никогда не было и быть не может, потому что реальная жизнь мне кажется временным затруднением, а равнодушные и непонимание близких — случайным стечением обстоятельств...

Я всему легко найду объяснение: почему человек груб, почему не доверяет, почему не любит. Я не могу понять только саму себя — ум старца, а поступки младенца. Видеть ложь и надеяться на правду, в воровстве искать честность, а в измене — любовь.

Человек мне сказал: «Я тебя ненавижу!» А я гордо вскидываю свою глупую голову и думаю: «Как же сильно он меня любит, раз говорит мне такие страшные слова!»

«Ах, какая прелесть эта Наташа!» Вот что губит меня в жизни — в отличие от героини Толстого — уверенность в себе! Я умею только восхищаться собой; даже когда я ненавижу себя, я восхищаюсь этой ненавистью: «Вот такая я — я ненавижу себя!»

Мне кажется, что все должны меня любить, даже враги, — ведь я такая хорошая: я не делаю никому зла, легко отдаю последнее, умею болеть за человека душой, люблю быть доброй и ласковой. Но в чем моя доброта? В том, что я отдаю часть того, что мне дали другие, делюсь полученным свыше? А если бы я добывала все своей кровью, была бы я такая добрая? Не знаю, у меня не было возможности это проверить.

Я не делаю зла, а разве это не зло, если сказала любившему меня человеку: «Прощай, я больше тебя не люблю!» «Болит душа за человека...» — но я спокойно доигрывала партию в домино в то время, когда на другом конце Ленинграда меня ждал умирающий человек, принявший меня в свою семью на целых 12 лет!

Правда, я похоронила его, моего дядьку (брата отца), сама, без чьей-либо помощи, по всем правилам, с отпеванием в русском соборе (на Пестеля), с поминками — со «Столичной» и черной икрой, а спустя год воздвигла маленький гранитный памятник на его могиле, но разве это можно назвать добротой? Это долг — долг, по которому должен платить каждый.

Может быть, я добрее других, но не добрее себя, я должна отдать все, а даю только половину. Я хочу любви, а в душе думаю: «Этот человек недостойн меня!» Я могу не есть, не спать, не дышать для общего дела, для любимого человека, но меня при этом не покидает мысль: «До чего же я хорошая, смелая, верная, отважная!» Я не могу отдать себя, я должна *подарить* себя. Я не могу сказать себе: «Все, что дано мне в жизни, это много, этого достаточно для человека моей среды и моих данных...» Нет, я рисую себе призрачные замки, идеальные отношения и бессмертные верность и любовь. И то многое, что мне дала жизнь, я считаю за мизер...

Нет ничего великого в моих предках, кроме того, что они были *моими* предками. По отцу — дед и бабушка — из крестьян Тверской губернии. Встретились они молодыми в начале века в Петербурге. Она была в прислугах, он — маркер в биллиардной. Сколотили кое-какое состояние, открыли чайную — одну, вторую...

Он спился; она, сраженная туберкулезом, ушла в могилу 36-летней, оставив четырех сирот. Кончился нэп, кончилось благополучие: дети остались навсегда нищими, — их отца протрезвила только голодная блокадная смерть.

Это реальные факты, но мое воображение рисует совсем другое... Красавец дед, с настоящими гусарскими усами, разъезжает в тройке по заснеженному Петербургу, а вокруг него красотишки — артистки и цыгане, целый хор цыган. Дома ждет влюбленная в него до смерти скромная белокудрая жена с четырьмя карапузами — один другого краше. Только старший сын походит на нее: голубоглазый и русский, трое же все в отца — с огромными карими глазами и вызывающе гордой красотой. Откуда в них в этих потомках тверских крестьян, эта царственная красота — один Бог знает.

*Красота порождает гордость, гордость убивает сознание.* Этот вывод сделала я на примере жизни моих родных. Но я понимаю и принимаю его чисто теоретически, не соотнося с практической жизнью...

У деда был дом на Петроградской стороне — купили его у сбежавшего за границу инженера. В доме был орган, и это предмет моей гордости, хотя я сама с семьей своего дядьки (того самого голубоглазого сына) 12 лет прожила в десятиметровой комнате полуподвального сырого помещения. До девятнадцати лет, в день по несколько раз, я проходила свои несколько ступенек вниз по лестнице, ведущей в нашу нищую обитель, где табуретка служила мне письменным сто-

лом, маленькая самодельная скамеечка — креслом, а обыкновенная раскладушка — чудесным ложем, на котором по ночам покоилось мое юное тело, в то время как невинный дух уже летал над небом Парижа...

Сколько я себя помню, столько я мечтала об этом чуде из чудес. И вот, сегодня я в Париже, и завтра могу без сожаления умереть? Все это доказывает мою пустоту и ничкемость, т. к. люди, которые что-то из себя представляют, не так-то просто расстаются с жизнью.

Практически моим воспитанием не занимался никто. Папа Миша (мой дядя) работал поваром-кондитером — на кухне от зари до зари. Я его почти не видела, только поздно ночью или рано утром слышала его голос — он оправдывался перед своей женой, мамой Лёлей, за то, что так рано уходит, поздно приходит, а денег не приносит и всегда пьян. Иногда это кончалось дракой, но мы с моей сестрой — их дочерью — не принимали ни в чем участия. Мы с аппетитом уплетали мандаринки, которые дядя шутливо называл картошкой, лакомились засахаренной кукурузой, а на пирожные просто уже смотреть не могли. В еде нам не отказывали, нас просто баловали, но на всем остальном у нас были огромные заплаты...

У папы Миши была широкая натура; он не понимал, как это — следить, чтобы не украли, как это — не дать, если просят, и не угостить, если кому-то хочется. Поэтому, будучи по своим умениям главным поваром или кондитером, он всегда имел крупные недостатки, а наши зимние вещи летом лежали в ломбарде, а летние — зимой. За всю свою жизнь он не знал, что такое поехать отдохнуть к морю или посидеть с удочкой в деревне. Он знал только работу, за которую получал гроши, пил водку и мечтал о возвращении нэпа, который он запечатлел глазами 13-летнего мальчишки. У него были золотые руки и бывали случаи, когда к нашему скромному подъезду подъезжали черные «Волги» и увозили полупьяного папку на правительственные дачи, чтобы он готовил им удивительные вещи.

А ведь некогда, много лет назад, при жизни бабушки, его учили французскому, игре на скрипке, и он готовился в Летное училище. Но вышел закон: «по-твердому», дали 24 часа и дед с четырьмя детьми, младшему из которых (моему отцу) едва стукнуло шесть лет, ушел в «подполье» — переехал на квартиру к своей бывшей служанке, племяннице умершей жены.

Жили без прописки, с разрешения любившего выпить управдома, шестеро в маленькой комнате огромной коммунальной квартиры. Туда же мой 16-летний папа Миша привел 16-летнюю маму Лёлю. Она считалась дочерью кулака, хотя ее отец дослужился в царской армии до чина офицера. Пять ее братьев и четыре сестры знали толк в работе, они сумели создать огромное хозяйство, за что впоследствии и поплатились жизнью. Родители успели переправить младшую дочь в Петроград, к бывшему барину — известному в городе адвокату. Там и встретились два молодых «лишёнца» и уже не расставались до самой смерти...

Красиво, да? Но все это было не так. Он гулял, пил и даже на старости лет нередко бил ее...

Моей маме сейчас чуть больше пятидесяти лет. У нее было четыре мужа. У мамы Лёли — один за всю жизнь — мой дядя. Кто счастливей? То, что пришлось пережить ей, моей нареченной мамке, не пожелаешь и врагу...

Идет суд, ей 20 с небольшим, беременна. На скамье подсудимых ее муж и... самая обыкновенная шлюха. Они занимались любовью, если это можно так назвать, в кабинете директора райсовета. Полураздетыми и пьяными их нашли рано утром работники райсовета, предварительно взломав двери. Слушается дело, оглашаются грязные интимные подробности. Прокурор требует сурового наказания. Зал одобрительно шумит. Все взгляды обращены к ней, молоденькой, хорошенькой беременной жене. Бедная, ей бы провалиться сквозь землю, бежать и бежать без оглядки, а она просит слова и со слезами, с душераздирающими воплями умоляет суд вернуть ей непутевого мужа, оставить отца ее будущему ребенку. И его оставляют, отпускают из зала суда.

Они идут домой молча; она чуть впереди, он — сзади. «Что же ты делаешь, Миша, побойся Бога!» — не выдерживает она, и — получает тумачков в ответ. Это всего один день, один случай из 45-летней семейной жизни. А сколько их было всего — страшно подумать!

Десять лет они жили в разлуке: он — в тюрьме, она с двумя девочками скиталась по стране. На второй год войны похоронила старшую дочку — голод. Младшая, Тамара, которая меня вырастила, оглохла 9 мая 1945-го. Чем стал для нее День Победы? «Не уберегла дочек!» — самое страшное обвинение бросил он ей в сердцах, по пьянке, а она в ответ могла только плакать.



Что было в ее жизни? Кто-то ходил к ней во время войны, гостинцы носил, с ребенком играл... На Кавказе она совершила свой маленький подвиг — вырыла из живой могилы еврейскую женщину с ребенком, привела их тайком, ночью в дом и спасала полгода у себя в подвале. Русская, навсегда оставшаяся простой деревенской женщиной, она не знала, что значит бросить человека в беде.

Она звала меня цыганочкой, я была чужая ей, со своей восточной кровью в жилах, но она давала мне тепла и любви больше, чем родной дочери. Я научилась у нее ходить пусть в стареньком, но чистом, носить на груди крест и любить все русское...

24.08.80. Paris

А Париж берет свое. Он красив так, что кружится голова. Но душе моей не суждено кружиться. «Кошки скребут» — это не то. Я бы сравнила свое изболевшее сердце с маленьким слепым котенком, оторванным от теплой мамки. Издаёт только мною слышимые стоны, тыкается носиком по сторонам и, не видя и не находя тепла, бьется в истерику. Бедное мое сердце, что будет с ним?!

Я всегда хотела делать всем добро. Я старалась не замечать врагов, мне казалось, что их вообще нет у меня, я хотела быть хорошей, любимой, а не получилось. Конечно, я упряма, самолюбива, горда, но если бы любящий меня человек сказал бы: «Не делай этого — это убивает меня!» — я не делала бы. Если бы он сказал: «Не оставляй меня, а то я умру!» — я никогда бы не покинула его.

Я встретила своего первого, когда мне было 16. Я относилась к нему искренне, но спустя пять лет охладела. Он казался мне слабым и это меня раздражало. Я хотела влюбиться без памяти и умереть. А он боялся потерять меня, готов был все прощать, только бы быть рядом, только смотреть на меня и носить гордое имя мужа. А я не сумела так, хотя все учили, даже свекровь, я не любила прятать свои чувства, отказывать себе в любви.

Я оставила его с угрызениями совести, с болью, с трагедией. Я была жестока, но была правдива. А кому она была нужна, моя правда? Никто не приветствовал мою прямооту, все хотели от меня тихой шалости, тайны, секретных встреч,

но не открытой любви. А я поступила по-своему. Сама вышла замуж — наперекор всем; сама — наперекор всем — разошлась.

Что стало с ним, с первым? Спился, сошел с ума? Опустился на дно? Нет... Он любил меня так, что мне становилось тошно от этой любви, он понимал меня с полувзгляда, он дорожил мною больше, чем своей жизнью, он даже молился на меня, но... когда я ушла — он не умер, он женился и дочку свою назвал в мою честь.

Жене его снятся сны, что я возвращаюсь к ним в дом. Она плачет, ревнует, но портреты мои не трогает. Она славная, молодая и любит его безумно. А он до последнего дня жизни желал со мной помириться. Три месяца в сумасшедшем доме — не в счет: просто он начал колотиться, чтобы избежать службы в армии. Это случайность, что я именно тогда уходила из дома.

Спустя целых пять лет он давал показания работникам КГБ: кто я, — на что 30-летний главный инженер академического театра сказал: «Это лучший человек, которого я когда-либо встречал в жизни». «Но ведь она вас оставила!» — вызывали его на желанную откровенность. «Да, оставила, но не предала!»

Как ни парадоксально это звучит, но именно он дал за меня поручительство — что я не останусь на Западе, что я «не предаю». А сам он лучше всех знал, что я никогда не вернусь. Я же с трудом подставила ему щеку для прощального поцелуя.

Мой второй муж как-то сказал: «Когда-нибудь, лет через десять, ты сильно пожалеешь о Юрке, он у тебя замечательный!» А я ответила: «Нет, никогда!» Уже прошло девять лет... Жалею? Нет! Но он действительно был для меня замечательным...

Мой второй муж — с ним было значительно труднее. Я его любила. — как женщина — впервые в жизни. Нас связывала только любовь, у нас кружилась друг от друга голова. Пять лет он был со мною изо дня в день, не переставая любить меня и не уставая любоваться мною.

Он был жестоким, самолюбивым, дерзким, но умел говорить такие слова, что я чувствовала себя самой лучшей, самой незаменимой на земле. Он умел мною восхищаться как никто, и как никто умел делать мне больно. Нет, не поступками, а словами, дикими злыми словами. А что касается поступков, — о, дай Бог каждому такого мужа...

25.08.80. Paris

Как интересно устроен человек! Я никогда не думала, что смогу забыть его, что смогу спокойно вспомнить о всех наших ссорах и обидах, что смогу перенести, если он будет с другой. Я думала, что никто никогда не займет моего сердца так, как он, что никто не будет иметь для меня такого значения, как он...

Всю ночь накануне своего отъезда я провела в рыданиях. Два часа мы говорили с ним по телефону: он — в Ленинграде, я — в Москве. «Ты сумасшедшая! — сказал мне он. — Ты понимаешь все не так, как другие, ты требуешь от человека невозможного. Но я люблю тебя и буду ждать тебя». Я плакала: «Я не вернусь никогда и никогда тебя не прощу!»

За что? Нормальному человеку это покажется смешным: он, пианист, вышел на сцену в начале спектакля в театре Ленсовета, подошел к женскому манекену XIX века, поднял юбку и заглянул туда. Потом спокойно двинулся к фортепиано и заиграл. Это была «гениальная» задумка Игоря Владимирова. Он придумал это по пьянке, а муж мой исполнил... Для меня этого было достаточно, чтобы возненавидеть его. Как это?! Мой муж — и вдруг под платье к бабе, пусть на сцене, пусть к манекену но это же просто стыд, ведь это мой муж, и т. д., и т. п...

Он был на гастролях, я не видела этой «режиссерской находки», он рассказал мне обо всем по телефону, и я перестала ему писать. Вернее, я отправила ему такое письмо, где «сравнила его с землей» и прибавила: «Какое счастье, что я тебя больше не увижу, что ты мне больше не муж, потому что такое ничтожество не может быть моим мужем!»

Это безумие — расставаться по таким причинам, да, но разве причина именно в этом? Если заглянуть поглубже, разве поэтому я оставила его? Нет! Он был нежен, он был заботлив. Он дал пощечину своей любимой сестре за то, что та «открыла рот» в мой адрес. Я никогда не отвечала на грубости, я могу постоять за других, но не за себя, а он умел постоять за меня. Он пошел наперекор всем, чтобы быть со мной, даже наперекор матери, которую буквально боготворил. Он вычеркнул из своей жизни тех, кто мог хоть как-то задеть мое самолюбие. Тогда мне это казалось обычным, сейчас я ценю это в нем больше всего.

Он пришел к нам в училище, когда я училась на третьем курсе. Я была в зените: пятерки по актерскому мастерству, съемки в кино, учеба в университете, куча поклонников, ко-

торые меня уважали, и рядом — преданный муж, которого любили все.

И тут появился он, ассириец, на редкость одаренный пианист. Когда он садился за фортепиано, все замирали: от педагогов до студентов. Он покориł всех сразу и безоговорочно. А меня он просто ошарашил своей независимостью и невозмутимостью в то время, когда все «ходили на цыпочках», дрожа перед нашим педагогом...

Он позволял себе опаздывать на занятия на час, на два, пропускал экзамены и никогда не отчитывался. Это было восхитительно на фоне всеобщего подобострастия и трусости. У нас была железная дисциплина, и только он был сам себе хозяин. Даже педагог его не трогал, поняв, что с ним это бесполезно. Знал, что он талантлив, что его возьмут везде, а держаться за теплое место — это не в его характере. И хотя его руки, его музыка — это его хлеб, он не стремился к тому, чтобы хлеба было больше или чтобы добавить к нему масла с икрой. Он любил благополучие, но не жил ради него и не унижал себя ради высокого положения.

Для меня это — всё. Я не переставала преклоняться перед нищими, но гордыми. О, он мог бы быть «богатым», если бы я позволяла ему работать, «халтурить», играть в барах или на концертах. Нет, это не для меня, мне нужны не вещи, деньги, достаток, слава и т. д., мне по самому примитивному понятию нужен любимый рядом. Все свое время, которое он мог бы тратить на заработки, он тратил на меня. Мы не ходили по ресторанам, но не пропускали ни одного интересного спектакля, концерта или кинофильма. Мы умели тратить деньги на книги, а что касается еды, то мы умели не лишать себя отбивных или орехового торта — его сласто...

Он не был идеалом, о, далеко нет, но умел любить, умел быть верным, а это главное. Каждое воскресенье я проводила одна — у него был футбол — и в дождь и в солнце. Меня раздражало это, но я не могла ему запретить этого, последнего. Я отняла у него дружбу с сестрами, успех и концерты. И, наверное, многое другое, а взамен давала себя, такую сумасшедшую и такую вечно недовольную.

Он был ассирийцем, крови моей матери, город, красив и самолюбив. Он мог мучить меня, но не предавать. Я ушла от него не из-за злополучного спектакля, а из-за того, что он не сказал мне: «Я тебя никуда не пушу, убью, но не пушу!» Нет, он сказал: «Я желаю тебе счастья, ты должна,

обязана быть счастлива, у тебя большое будущее там, на Западе, и я буду жить тем, что тебе там хорошо».

Вот такие красивые слова, как в кино, но мне они не нужны, я искала в жизни другое: *«убью, но не отдам никому»*, но такого я не встречала.

Тот, другой, который был со мной на Западе эти два года, который привез меня впервые в Париж, который показал мне Америку, богатые гостиницы и дорогие рестораны, который ознакомил меня со всеми нюансами преступного мира, он тоже не сказал мне этих слов. Сейчас, когда я пишу эти строки, он здесь, рядом, в моей душе. Его имя, такое незнакомое мне раньше и такое чуждое, сейчас самое родное для моего слуха. Его религия, его народ, такой далекий от меня всю мою жизнь, так близок мне сейчас и вызывает сострадание. Я гордо ношу его звезду на груди, купленную в Париже на последние 50 франков. Я никогда не приму до конца его мыслей, его поступков, я никогда не смирюсь с обидами, нанесенными мне его беспечием и самолюбием, но он во мне, во мне со всеми своими достоинствами и недостатками, со всем своим безумием и безрассудством.

Вчера был юбилей — четыре месяца как я покинула его дом, ушла в чем есть, одна, в никуда. Ушла из-за недостатка любви, из-за непонимания, из-за бессердечия. Четыре месяца я одна, ни с кем и ни у кого. Я готова была помириться, простить обиду, но он не простил. Он не простил моего ухода, моего молчания в течение 25 дней, той пытки неведения, которой я его наказала за грубость, за черствость, за нелюбовь.

А я умею любить ненавидя, и эта любовь меня губит и мучит. Я не думаю о нем только когда сплю, но подчас он приходит и во сне. Это приятные минуты, он рядом, он тянется ко мне. А в жизни — он вешает трубку...

Что моя жизнь? Мне идет 32-й год, а еще «пацанка» — и по положению и по образу жизни. С шей мужа я перешла на шею к матери. 30 лет я не жила с ней вместе и вот — пришла, на тебе!

26.08.80. Paris

С каким удовольствием я каждый раз повторяю слово Париж! Вчера в двенадцатом часу ночи освободился из тюрьмы один знакомый парень — бывший рижанин. Он просидел семь дней в парижской тюрьме, проклинал все на свете, но не город, который невозможно проклясть, какие бы несчастья он тебе не принес...

Так же ты не можешь проклясть и любовь — сколько бы горя она ни несла с собой, ты бессилён перед ней, ты раб ее. Я — раба любви, и в этом мое несчастье.

27.08.80

Здесь, у северного вокзала Парижа, в третьем часу дня я даю обет больше не клясться ни на что и никому. Всю свою жизнь я берегла слово «клятва» как самое святое, я готова была потерять все, но не нарушить слово...

Один раз в жизни я солгала, произнесла слово «клянусь» по ассирийски, но я пережила в душе тысячи мучений за это. Больше никогда я не делала такого — и вот результат: мне не верят! Не верят, когда я произношу страшные жестокие слова клятвы. Мне говорят — врешь! А я знаю, что никакая сила на свете не заставила бы меня проклясть близких, никакая! Ни любовь, ни слава, ни деньги. А в ответ, в ответ я слышу одну ложь, только обман и ничего больше. Отныне я буду говорить только «да» или «нет» и ничего больше. «А остальное — от лукавого», — как сказал Иисус.

Не знаю, сколько я еще проживу, может быть недолго. Возможно, я чище и лучше многих, но это не дает мне покоя — меня мучают раскаяния, душа моя беспокойна. Разве я могу сказать, что я никого не предавала...

29.08.80. Paris

*«Во время путешествия забывается названия дней: их заменяют города».*

*(В. Набоков. «Звонок»)*

Что можно еще добавить? Два года я не знаю дней, не знаю времени — на смену им пришли города: Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Варшава, Тель-Авив, Иерусалим, Вена, Цюрих, Женева, Нью-Йорк, Рим, Милан, Венеция, Брюссель и, наконец, Париж! Канны, Ницца и Монте-Карло также не заметили мой облегченный шаг. Я прошла неузнанной и невоспринятой по всей Европе, побывала в Америке и на Святой Земле. Они коснулись моего сердца — как касается пламя свечи склонившегося над ней лица, блаженно молящегося в Храме Божьем. Они задели мое сердце, но не вошли в него...

В него вошел Он, который растоптал преданность моей души, очернил мои мечты и бросил мое тело на съедение похотливых самцов. Он постарался забыть мой страстно-

печальный взгляд, возбужденную леность моих рук и ту слепую, безоговорочную нежность, которой я благословила Его образ.

На чувства и веру пришел голод — он постиг всех, он затронул и меня. Все, что оставалось в моем прошедшем через равнодушие багаже, чистое и святое, что хранилось на самом дне исстрадавшегося сердца, — я принесла Ему как незапятнанный и светлый дар к заветному алтарю. Но она, моя болезненная преданность, была не ко двору — подобно черствому куску хлеба она была сброшена с барского стола, уже и без того тесного от всевозможных пряностей. Отчаяние и обида как самый дешевый кабак пьянит и ужасает мое обескрыленное нутро, и только Париж, единственный Париж возвращает мне трезвость моего обыкновенного бытия.

Я такая же, как и все. Мой ум — это придуманность влюбленных, моя красота — это одурманенность близких. Мое доброе сердце — это минутное заблуждение. Во мне нет никакого права на счастье, и я не смею требовать удачи. Я — сама собой раскрашенная посредственность — хлынет дождь и обнажится моя беспробудная серость и пустота. Я должна проститься с «песней торжествующей любви» — она не для меня. Я не так значительна, чтобы быть предметом поклонения, очарованности и любви. Замки, нарисованные моим воображением, — это продукт моей нарциссовской неполноценности.

У меня был красавец дед — гуляка и кутила. Он был мягок и восхитительно щедр, но загнал в могилу мою несчастную 36-летнюю бабушку. Он похоронил ее «с помпой», в Александро-Невской лавре, а на следующий день сделал ее племянницу своей женой. А проповедовал он Толстого, носил до старости толстовку, и «непротивление злу» склоняло его колени. Всеми брошенный, нищий и одинокий, он встретил свою страшную голодную смерть на чердаке ветхого, бывшего тверского дома, неведомо как оказавшегося его последним пристанищем. Я не видела их никогда, ни деда, ни бабуку, они умерли, когда мое сознание еще даже не подразумевалось.

Мой отец, потерявший мать в четырехлетнем возрасте, походит сильно на своего отца. Высок, с открытым взглядом карих глаз, благородной линией носа и с тонким запахом хорошего вина. А на вопрос «кем ты хочешь быть?», будучи школьником, он, не задумываясь, ответил: «Львом Толстым». И вместе с тем, он никогда не написал ни строчки.

В 15 лет он встретил свою Герту — богатую и нежную, отдавшую ему свой первый поцелуй и с именем его ушедшую в могилу. Их познакомила болезнь — туберкулез. У папы — подозрение, у нее — открытая форма. Она в слезах прятала свое лицо, боясь, что ее девственный поцелуй погубит его здоровое тело. А он не понимал, мучился, думал — не любит.

Вернувшись с фронта 19-летним красавцем-лейтенантом, он первым делом помчался к ее дому. Послышался звук многочисленных звонков и незнакомый женский голос сурово спросил: «Вам кого?» — «Герту!» — выдохнул как рапорт взволнованный командир. «Ее нет», — после минутной паузы произнесли ужасающе тихие губы. «А когда она будет?» — недоумевал мой отец. И тогда в облике женщины вдруг что-то мелькнуло, какая-то тень надежды, теплоты. «Вы — Женя?» — «Да!» — удивлено воскликнул папа. «Пройдите...» — последовало приглашение.

Его привели в огромную светлую комнату, заполненную какими-то старинными предметами, странно сохранившимися после блокадных зим. У окна стояло величественное пианино, украшенное подсвечниками. Книги на немецком и русском языках смотрели на него со всех стен. И вдруг он заметил ее — светлую девушку с грустной улыбкой и такими знакомыми, на редкость серьезными глазами. Траурная рамка очертила ее спокойный и нежный образ. Сердце отца сжалось, горькое, отчаянное «нет!» вырвалось из его груди. Он резко обернулся к женщине, схватил ее за острые исхудавшие плечи и нервно, твердо произнес: «Этого не может быть, она жива!» А в ответ — только тихие рыдания.

«Женя, Женечка... — причитала она по-старушечьи. — Вот ты какой...» «Она умерла, умерла моя деточка, три месяца назад. Она все говорила о вас, говорила... С вашим именем и отошла...» — с этими словами женщина обернулась к огромному старинному комоду, заставленному фарфоровыми безделушками, и указала на красивую золоченую рамочку. Отец нерешительно взял ее в руки. На него смотрели две скрепленные вместе фотографии — Герты, какой он ее запомнил в день их первой встречи в Зеленогорском санатории: тоненькая, с длинной светлой косой и в шелковом платье с оборкой, — и его, молоденького лейтенанта, браво взвращающего с военной пятиминутки...

Спустя год мой отец встретился с черноволосой кареглазой, жизнерадостной и неугомонной 18-летней дочерью



ушедшего в небытие ассирийского народа и был покорен ею и погублен. Не все называли ее красавицей, но ее чудодейственного обаяния не отрицал никто. Она умела производить впечатление, умела увлекать. Они стали супругами сразу, с первого вечера. У них были общие интересы, но разные взгляды; он был лиричен, она реалистична. Он начал пить, она продолжала нравиться другим. Первый сын Петенька умер в двухлетнем возрасте — причина смерти не установлена. Второй была я.

Я родилась потому, что мой старший брат покинул этот мир младенцем, иначе меня просто бы уничтожили в зародышевом состоянии. Увы, «се ля ви», т. к. я шла следом за Петенькой. Итак, я родилась на костях ближнего! Как ни страшно звучит, но это факт. Вопрос: для чего? На этот вопрос я не в состоянии ответить, хотя мне уже 31 полный год. 29 лет в России и вот уже 2 года на Западе.

*30.08.80. Paris*

Ну что ж, вот уже и 30-е, завтра 31-е, а затем — 1-е число. День, с которого отсчитывается моя новая жизнь.

*31.08.80. Paris*

Мне страшно, завтра уже 1-е! День рождения моей мамы и мой день рождения — второй на Западе. Я приехала 1-го — 1978 года, рейс «Москва — Франкфурт» — и я в другом мире. Меня встречают: мама, Костя (ее четвертый муж), брат Юхан, и Он — мой, мое, моя и т. д... Самый крупный аэропорт Европы, здравствуй, это я!

*1-е, Paris, 10.40 утра*

Что же, моя дорогая, вот и 1-е число! Поздравить? С чем? Ах, да, сегодня день рождения мамы. А у меня? У меня день прозрения...

Вчера судьба в образе одной русской женщины открыла мне глаза. Как ни банально это звучит, но я верила людям, я просто не понимала, с чего им меня обманывать. И вот, пожалуйста, я обнаружила ложь там, где ее вовсе не подозревала. Все обернулось для меня новым светом, все! Все отношения и все люди. Эта паутина, готовая засосать каждого, вдруг выбросила меня с отчаянной силой наружу. Боже мой, какая же я была дура, какая я есть дура, что умею верить, что не могу без веры. Так я отмечаю свой юбилей —

«с камнем» в груди и в полном разочаровании. Меня не предали, нет, мне просто никогда не были верны.

А я требовала от этого Человека веры — да откуда она у Него, который прошел огонь и воду?! У него, который видел самую грязь своими глазами и подчас был участником этой грязи...

Да, моя жизнь состоит из одних разочарований. Хочешь устроиться в жизни? Умей держать язык за зубами, умей не договаривать, умей скрывать. А я никогда ничего не добьюсь в жизни, т. к. я ничего этого не умею делать. Я — ничтожество, я слабый человек, я не умею быть умной.

Прощай, моя жизнь, прощайте мои надежды, прощай любовь! Все прощай! Здравствуй, ложь! Здравствуй, обман! Здравствуй предательство! Если я не смогу стать такой, как все, — жизнь меня сотрет в порошок...

Ну да и слава Богу! Только бы не мучиться долго — ведь другой мне все равно не стать...

*(Продолжение следует)*

---

Софья КУПРЯШИНА

ОТВЕТ ПОЭТУ

Прочитала в номере пятнадцать  
Я Стрельца Олега мадригал\*.  
И пишу вам, не могу сдержаться,  
В «СОЛО», замечательный журнал.

Да, Олег! Я с вами не знакома  
И за то в обиде на судьбу.  
Но с войны, с вестями из райкома  
Я хочу дождаться вас в гробу.

Верной, нецелованной и строгой  
Подойду, рыдания затая...  
Может, ты вернешься одноногай —  
И таким я полюблю тебя.

Лаком я не пользуюсь в помине,  
Губ не мажу, пиво редко пью,  
В жизни не носила юбок-мини,  
И семью советскую люблю.

Никогда за модой не следила:  
Про меня недаром говорят,  
Что всегда оборванной ходила,  
Но в душе был творческий заряд.

Пусть плюются, стиснув нос платками,  
Новые российские князья —  
Я не буду прыскаться духами!  
Нравственность во мне убить нельзя!

«Леггенсов» от веку не носила —  
Больно ноги толсты и крепки,  
Но во мне всегда играла сила:  
Я колю дрова, как мужики.

---

\* Стихи Олега Стрельца напечатаны в «СОЛО» № 15.

Я ношу бутылки рюкзаками —  
Штук по тридцать и по тридцать пять.  
Сильными и толстыми руками  
Я могу вас крепко обнимать!

Вам ясна, наверно, эта схема,  
Но не идеален человек —  
С пятым пунктом у меня проблема:  
Я — татарка, дорогой Олег...

И татарка не на сто процентов —  
Много намешали мне кровей.  
Говорю по-русски без акцента,  
Волос будет русого темней.

Есть усы и темная «дорожка»  
От пупка до самого лобка,  
Но кривиться погоди немножко:  
Это значит, страстью я крепка.

Я могу всегда, в любое время  
Подойти к крутому виражу.  
Если есть какая-то проблема —  
Я поставлю, слова не скажу.

Прошлое... Оно бывает с каждым.  
Есть декабрь жизни, есть и май...  
Если обо мне узнать ты жаждешь —  
Женский выпуск «СОЛО» прочитай.

Что ж, до скорой, ожидаемой встречи!  
Отвечай мне, чувства не тая.  
Верю, что положишь мне на плечи!  
Сонечка Купряшина твоя.

---

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

### УРАЛ: В ПОИСКАХ КОНТЕКСТА\*

Литература при советской власти насаждалась так же, как и картофель при самодержавии — разнарядкой, по указанию свыше. Так, каждый областной центр был обязан иметь отделение Союза Писателей и свое издательство — кузницу и оранжерею кадров. И, если не журнал, то литературо-центричную газету — обязательно. Что создавало видимость некоего культурного ландшафта и облегчало отчетность. Роль местного Олимпа здесь выполнял журнал с оригинальным названием «Урал», чья периодичность и методичность позволяли заполнять свою нишу в ряду других региональных ниш со всей возможной полнотой.

Потом разнарядка кончилась, уступив место ускорению и перестройке. Ускорение литобщественностью было понято слишком буквально. Тогда, на мощной энергии имперского распада, взросло и зацвело сразу великое множество самых разнообразных цветов. Вспомним свердловские журналы-камикалде «Микс» (вышло 7 номеров) и «Лабиринт-Эксцентр», делавшийся наполовину с питерской редколлегией, подававший надежды, да так и заглохший на третьем номере. Вспомним 6 номеров челябинского «Имиджа» и пермские серии «Литературное Прикамье» и «Классики Пермской поэзии», расцвет «Уральской нови» и амбиции «Третьей столицы»... Много еще чего было хорошего, а осталось... Ты, да я, да мы с тобой...

Вот и случилось то, что случилось — пустыня, пустыня вокруг. Нет, я не говорю, что до нас ничего не было, и мы пришли на пустое место. Один Бажов и какая-нибудь Татьяначева тоже не лаптем щи хлебали, но... Очередной раз возникла ситуация зияющего отсутствия. Пустота тем более очевидная тогда, когда Урал из промышленно-сырьевого придатка дозрел-таки до некоего субкультурного уровня, эмансипировался до того момента, когда литература (как

\* Дмитрий Бавильский далее представляет уральских авторов.

часть духовной жизни вообще) стала естественным состоянием. Но — оглянулся окрест, и душа моя уязвлена стала. Уж слишком этот воздух разрежен, слишком скуден пейзаж. Контекст в такой ситуации не создается (хотя именно этим мы, в меру своих скромных финансовых сил и пытаемся заниматься), но наново моделируется, про-является буквально на наших глазах. И не в людях как раз дело, люди есть, и их много, но в отсутствии единого информационного поля, собирающего в единое целое автономные величины, сбивающего вокруг себя литературные сливки, воспитывающего читателей, а, значит, и подготавливающего себе смену...

Литератор живет в провинции как какой-нибудь северный хуторянин, когда пуститься к соседу за спичками все равно что совершить кругосветку: день иди, ночь иди, а все равно мало будет. В отличие от столичной тусовки, сливающей отдельно стоящие звезды в недифференцированное месиво Млечного Пути, здесь каждый буквально на счету, виден и слышен со всех сторон. Это, конечно, хорошо, потому что ничто не мешает самостоятельному развитию таланта, не деформирует его естественный рост. Но, с другой стороны, пишущий зачастую вынужден быть как какой-нибудь титан Возрождения мастером на все руки. В смысле изобретения велосипеда и безграничного поля для применения своих возможностей: раз уж никого нет, то сегодня — стихи, завтра — проза, через неделю — драматургия или венок сонетов — запросто... Разброс получается значительным, а достижения — обратно пропорциональны разбросу.

Все это накладывается каждый раз на особый нрав, которым каждый из уральских городов обладает в полной мере. Екатеринбург в этом смысле наиболее балованный, наиболее центральной, *цивильный*. Что его, в конечном счете, и подвело. Никто и не заметил, как однажды он свое литературное первенство утратил, перераспределив усилия между менее окультуренными Пермью (где по сведениям фонда «Юрятии» обнаружена местная *поэтосфера*) и Челябинском. Нет, с журналом «Урал», слава Богу, ничего не случилось, жив курилка. Однако, современный контекст стал столь многообразным, столь разнонаправленным, что одного просвещенного консерватизма (даже самого респектабельного вида) мало. Впрочем, все это достаточно ярко демонстрируют и столичные «толстяки».

Пермь, которая всегда напоминала мне травестированный Петербург, тоже не чужда самолюбивых интенций к

---

самодостаточности, рифмующейся в нашей стране отчего-то со столичностью. Не случайно именно здесь родился такой амбициозный прожектор, как Сергей Дягилев. Впрочем, к нынешней Перми это не относится. Теперь здесь есть фонд «Юртин» (В. Абашев со товарищи), который при понимании и поддержке местных властей регулярно проводит краеведческие конференции и иногда выпускает неплохие книжки.

Труднее всего с Челябинском, крупным центром оборонной промышленности, *tabula rasa*, где все существенное существует не благодаря, а как бы вопреки. Но, тем не менее, было и есть, дано и не отыметься. Именно здесь, в фонде «Галерея» (В. Калипиди) начинает выходить журнал «Несовременные записки», сверхзадача которого как раз и состоит в объединении лучших новых творческих сил. Именно здесь задумана и готовится этапная для уральского региона «Антология новой поэзии», начала выходить книжная серия «Уральский Логос», реально вызревает, начинает вырисовываться что-то определенное. Результативное...

Как, например, этот «уральский» раздел журнала «СОЛО».

---

\* \* \*

*Иван Суздалев (Троицк) — один из тeneвых «классиков» современной уральской словесности. Коллекционирующий компьютерные вирусы и составляющий каталог самоубийц, Суздалев пишет по одному тексту в год. Полностью мобилизовав свои ресурсы, он, ничтоже сумняшеся, каждый раз пытается сконструировать некий документ, в котором бы, как в капле воды...*

*Постмодернистская дегуманизированная горизонталь, децентрализация и игровая необязательность приводят, в конечном счете, к кризису традиционных представлений о человеке, скотомизации антропоморфности. Когда на смену классическому homo sapiens приходит какое-то иное, еще не совсем понятное существо. Его образ складывается на наших глазах, ткется нами и из нас, при нашем непосредственном участии. Отрефлексированная учителями цивилизации модель с определенным набором признаков и примет ветшает, стирается, уходит в прошлое, исчезая, да-да, «как следы на прибрежном песке...»*

**Иван СУЗДАЛЕВ**

## **ХРАНИТЬ ВЕЧНО**

*рассказка*

Хуже нет, если кто придумает какую теорию про то, как надо жить, ну и начинает с этой своей придумкой носиться как с писаной торбой. Все пытаюсь подогнать под концепцию, под вещь заведомо искусственную, хотя, быть может, и искусную. Жизнь — не игра, и как не крути — пасьянс не сложится. Даже если ты и выучил все карты в колоде. Особенно, если идеи эти других людей касаются, тут-то уж точно — держи карман шире.

Жили в нашем городе два мальчика, и так им хорошо друг с другом было, что больше никого на свете и не нужно.



Друзья — не разлей вода, не сожги огонь, не оглуши медной трубою. На женщин они, конечно, свысока глядели, впрочем, как и на все остальное народонаселение, потому что два человека — в наше время сила великая. Вдвоем, при желании, можно горы свернуть или выборы в Верховный Совет выиграть.

Со стороны-то так и казалось, что неуязвимы наши мальчишки и абсолютно автономны. Да только ведь мать-природу не обманешь. Ну они, конечно, сублимировали, как могли, учились хорошо, всякие там карьеры делали — Марек по шахматной линии, а Манас по финансам и прочим банковским операциям. В ненастные дни собирались они у камина, ноги сушили, коньячком баловались. Манас курил сигару, а Марек орешками тешился, шелкал их как белочка, да скорлупки в огонь сплевывал. В подвале шуршали нестрашные мыши, в трубе шумел нестрашный ветер, невидимы и свободны! Невидимы и свободны, как летучие мыши, которые на своем ультразвуковом языке разговаривают.

Манас только недавно в банк поступил, а уже какую карьеру сделал! Его не только к валютным операциям допускали, но и на Главном Компьютере играть разрешали. Правда, пока только в «гонки по вертикали», но зато с главным бухгалтером в паре. Марек играл в свои шахматы, и никто толком не знал, хорошо он играет или плохо, потому что шахматы не только спорт и искусство, но еще и философия. А вот с философией у нас туго, потому как учить — учили, сдавать — сдавали, а вот что это, собственно, такое — иди с Аристотеля спрашивай. Или с Кьеркегора какого-нибудь.

И вот, в один такой непогожий денек, когда небо спеленало как мумию или капусты кочан грязными бинтами, попивали ребятки коньячок (засунувши руки в карманы: перчаток они не имели) в гостинной Англицкого Клуба и обсуждали насущную проблему: как сделать свой союз еще автономнее и, значит, неуязвимее. Они, казалось, и родились-то сразу в этих консервативных костюмах с накрахмаленными сорочками, строгими галстуками, узконосыми башмаками и длинными черными хлопчатобумажными носками до колен. Родились как раз возле этого, даже летом не перестававшего топиться камелька, да так ни разу и не вставали. Ну, если только по малой нужде ненадолго. Отказаться от женщин полностью нельзя, но, якшаясь с ними, порядочный джентельмен всякий раз теряет человеческий облик; гомосексуализм поверхностен и слишком пошл. Вот

если бы можно было заниматься любовью не раздеваясь и не вынимая сигары из-за рта, не меняя ни позы, ни темы разговора, ни кровяного давления... Нет, это, вероятно, невозможно... Да... Но необходимость-то есть, гносеологический и антропоморфный кризис самоидентификации-то просто-таки перманентен! Что делать? Как быть? И каким быть? И быть или казаться? Кто виноват? Марек говорит (а он по натуре своей — из идеологов), давай, мол, я пол поменяю, какая мне разница, кем быть, у меня же, понимаешь, игровое сознание, смена масок, там, смеховая культура всякая. Я, конечно, женщиной себя не ощущаю, но для друга для любимого мне же ничего не жалко. Зато душевное единство наше окажется подкрепленным еще и физической стороной дела, что делу не помеха... А что, говорит Манас (он сам идеолог не меньше Марека, только в отличие от него, он еще и подпольный человек Достоевского), идея, конечно, неплохая, но хлопотная... Ты, говорит, конечно, как друг мне бесконечно приятен, но к тебе как к женщине буду ли я иметь влечение? Но, с другой, так сказать, стороны, кто как не ты знаешь все мои фенечки и заморочки, кто как не ты будешь стремиться к наилучшему положению дел в нашем микроколлективе? Ведь жена человек завсегда пришлый, чужой, все-то ее достоинство заключается в том, что у нее на одну дырочку больше. Может ли это пустяковое обстоятельство перекрыть все достоинства и заслуги благородного и честного джентльмена, столь преданного общему делу?! Но Марек, как порядочный человек я должен позаботиться и о своем друге, вот скажи, как же тогда будет осуществляться социальная твоя интеграция? А у Марека всегда на все ответы заготовлены, ничего, говорит, женщины тоже в шахматы играют. А то, что я и в женском облике останусь натуральным джентльменом, — можете, господа, не сомневаться. А мы и не сомневаемся, говорит Манас, потому как знаем вас как человека честного и благородного.

Поговорили и разошлись, только Марек этого разговора не забыл. Важно ему стало свою утопию, идею идентичного существования в жизнь воплотить. Вот он потихонечку от всех и стал подготавливать операцию по перемене пола. То, что сюрприз для Манаса будет радостным, он, конечно, не сомневался. А о других и не думал. Ну, придется уехать в какой-то другой город, но ведь вместе же, не одному! Зато — соборность в чистом виде, сплетенье рук, сплетенье ног, души сплетенье: ибо только такой, неформальный, союз мог

помочь преодолеть обоим индивидуальную карму, данную от рождения, вот главное! Долго ли, коротко, подошло время пол менять. Деньги, надо сказать, были найдены немалые, связи задействованы превеликие. И ведь все удалось в тайне сохранить, ну, разве что два-три турнира отменил, так это ж разве важно. И вот звонит он своему другу Манасику из клиники на работу, можно сказать, чуть ли не с операционного стола, чтобы, так, мол, и так, обрадовать. А Манасик сначала долго к телефону не подходил, а затем все рассеянно так выслушал и говорит, ну и что? Как ну и что, мы же с тобой, помнишь, когда говорили про ЭТО, ты очень даже не против был, ну, я и решил на свой страх и риск. Детей я иметь не смогу, зато все остальные радости — сколько угодно. От тебя, Манас Манасович, только одно требуется — вещи собирать, потому что, как только швы снимут, нужно сваливать с этого проклятого места куда подальше. А Манас Манасович и говорит, ты молодец, конечно, но мог бы, конечно, и со мной посоветоваться, нет, мол, так, мол, и так, не могу я сейчас из города уехать, мне же повышение предложили, целым отделом заведовать, ты же знаешь, как это для меня важно. И вообще мне, честно говоря, вся эта затея не нравится.

Трубку при этом он, конечно, не бросил, потому как воспитан был, да и Марека по-своему любил, или, если быть точнее, уважал (у него все уважением мерилось), да и понимал, чай не маленький, как его товарищу сейчас трудно. Ну и Марек был парень не промах, не сказал он слов обидных или злых ему. Попрошались они, значит, и пошли каждый своей дорогой. Понял Марек, что проиграл он эту партию, потому как неправильный расчет сделал, черного короля за белого слона принял. Операцию, конечно, сделали, да только неудачно. Что уж там светила медицины напутали, нам не ведомо, только стал Марек бесплотным, воздушным, духоо-о-о-о-вным, блин, как, я и говорю, ангел какой. Вот так в жизни все и бывает: у кого жемчуг мелок, а у кого щи пустые. Уехал он от обиды своей куда подальше, а Манас пошел на повышение, а потом пошел еще и еще дальше. Завелось у него много денег и еще больше любовниц. Но женился он на женщине скромной да работающей, на стюардессе по имени Жанна, которая ему в самолете минеральную воду принесла, да так с ним жить и осталась. И так ему хорошо и спокойно жилось (если бы только не инспекции эти постоянные), что он ни о чем постороннем

не думал, только о работе и о думке своей ленивой. Он и раньше-то много не думал, а теперь и вовсе разучился. А Марека если и вспоминал изредка, да только как тень какую, как кино старое, было да прошло.

Марек закинул шахматы и скитался, пока не решил он умереть окончательно. Для того он и вернулся на историческую родину, в свой город, знакомый до. Выпил вина, выкурил сигару, какими Манас в те исторические-доисторические времена баловался и вскрыл себе вены. Только не так, как это истерики делают — надрезая вены на руках, чтобы потом их спасли обязательно, нет. Решил себе Марек никакой надежды не оставить, ни единого даже шансика. И потому разрезал себе вены под мышками — чтобы уж точно никакого жгута наложить не смогли. Выпил он еще для храбрости и позвонил на всякий случай своему старинному другу, набрал номер, а у того занято. Выпил он еще раз и снова заветный номерок исполнил. И снова гудки оказались омерзительно короткими, Марека аж передернуло, скулы свело: с кем трепется, гнида?! Третий раз набрал он неизменный номер, и тогда Манас своим тихим, но справедливым голосом твердо сказал «Да!» (он всегда так по телефону отвечал и за многие годы привычки утвердительно отвечать миру на его запросы не утратил). Это, говорит, я, Марек, здравствуй! Ну, здравствуй, конечно, говорит точно обрадованный Манас, как если он только сидит и звонка от Марека ждет. Но на самом-то деле ничего он не ждал, он и знать-то забыл, как Марек выглядит, он его, кстати, после неудачной операции и не видел ни разу. Да, если честно, и не хотел видеть. С глаз долой — из сердца вон, это как раз про таких людей, как Манас, и сказано. Но, кстати, и злодея бесчувственного, козла отпущения из него делать тоже особенно не нужно. Вот Марек объявился, так Манас очень даже искренно ему обрадовался. Вспомнил в одну минуту, какие сильные мысли и чувства их связывали, и проснулись в нем эти самые мысли и эти самые чувства. Да только поздно! Ты куда пропал, спрашивает он Марека, как будто они только вчера последний раз разговаривали. А Марек кровью во всю истекает, силы уходят, жизнь гаснет, но говорить еще можно. Поэтому он тоже говорит как ни в чем не бывало, мол, так, мол, и так, никуда не девался, а дома сидел и в окно на огненную реку любовался. Ну-ну, говорит Манас оптимистично, и как дела твои? Да, так Марек ему отвечает, истекаяю, понимаешь, клюквенным соком. Что-то я

не понимаю, говорит ему младший его товарищ. А чего не понять-то: в крови я по уши — вскрыл я вены и жить мне осталось, можно сказать, от силы, как говорится, полчаса! Тогда Манас все понял. Только извиняться — значит время терять, Марека, его Марека еще же спасти можно! Давай, кричит он в трубку так, что его жена Жанна на кухне крышку от молочной кастрюли роняет в посуду, предназначенную для мясной пищи, я скорую помощь вызову, она тебе поможет. Только Марек говорит, последние силы-то теряя, я, значит, ни в какой помощи не нуждаюсь, ни в медленной, ни в скорой (горько так пошутил, значит), только если ты хочешь побыть со мной в мои последние минуты моей грешной жизни — не отходи от трубки и слушай, я тебе буду говорить, а то умирать знаешь как страшно... Знаю, говорит Манас, как будто сам всю жизнь умирал, и слушать приготавливается, но сам думает: я все равно его спасу! И жестами подзывает свою жену, бывшую в употреблении стюардессу, мол, мигом в травмпункт или какой иной приемный покой, но только чтобы парня мне вытащили! А Жанна себе на кухне радио России включила и канал «От первого лица» слушает, а еще она себе бигудей накрутила и платок повязала. Не со зла, конечно, дура она просто. Бытовое сознание. Смешная такая, кричит мужу из кухни, иди, послушай, тут поэтесса Ольга Александровна Седакова выступает, очень даже неглупые вещи говорит, а сама-то ничего в стихах не понимает. Просто умной хочет казаться. А зачем?

А друзья-то товарищи наши разговаривают (Марек говорит в порядке самокритики, что мы, мол, обречены были на провал, когда попытались попереть против махины природы — даже дедушки в доме для престарелых пытаются ухаживать за старушками, а не за своими дружками. Но, знаешь, я не жалею. Хотя, если честно, жалею, конечно), вспоминают, как хорошо раньше было, друг дружку перебивают, смеются сквозь слезы. Жанне даже подозрительно стало — с кем это так захлеб ее Манас-американец разговаривает, не завел ли себе кого (про Марека-то она и знать-то не знала и ведать не ведала, вот как). Высунулась в бигудях из кухни, подслушивает и думает: учинять разборки или потом последствий не оберешься. Да только не век веревочке виться, кровь-то взяла и вся из Марека вытекла, доигрался, гаденыш, в свои странные игры, умер, как хотел, у друга на ушах. Расстронлся Манас, конечно, только виду не подал. Сдержанный он был. Только теперь со всей оче-

видностью понял, что за потерю он сейчас приобрел. И поехала у него крыша, и поплыло все перед глазами, и заурчало в желудке, и сверкнули молнии над крышей, и запищали мыши в подполе и отключили горячую воду до самого конца столетия. Плохо ему стало, да только Мареку-то еще хуже: похолодело его изувеченное и обескровленное тело, застыло навсегда и корочкой льда покрываться начало. Так и не помог ему никто. С горя Манас начал теории идентичного существования вспоминать да себе на клубок наматывать. Решил он-таки, с помощью Марека, конечно, свою индивидуальную карму преодолеть. Да так страстно решил, как будто мог Марека к жизни вернуть. Сам он, как ни в чем не бывало, хлопотал в устройстве похоронных торжеств, суетился, хлопотал по поводу престижного места на аллее героев главного городского кладбища. Местное правительство тоже вдруг спохватилось, вспомнило прежние шахматные заслуги усопшего и решило устроить прощание по самому высшему классу. Манас в этом деле очень даже способствовал. Однако был у него и свой, что называется, кровный интерес и далеко идущий план. И хотя Марека никаких распоряжений по поводу собственного захоронения не оставил, он как лучший друг покойного настоял, чтобы Марека кремировали. Так и поступили, хотя собственного крематория в городе не было и пришлось ехать в соседний мегаполис за несколько сотен километров. На это-то хитрец и рассчитывал! Потом, на обратном пути Манас прижимал к груди теплую урну с пеплом Марека и чему-то рассеянно улыбался.

С работы в банке он ушел, отказавшись от всех мест и занятий, с женой Жанной развелся (она снова стала летать до Минеральных Вод и обратно). Зато устроился в садоводческий кооператив сторожить чужие огороды. Там, вдали от любопытных глаз, он и осуществлял свой тайный замысел. Дело в том, что еще по дороге из крематория, Манас подменил урну с прахом пустышкой, пепел друга привез домой и на некоторое время спрятал. Потом еще некоторое время голодал, очищая организм от шлаков. А потом, разбавив прах дистиллированной водой, стал им питаться. Внутри его организма происходило полное воссоединение двух старых друзей, и уже ничто на свете теперь не могло их разлучить! Когда же Манасу хотелось в туалет, он уходил в укромное место, выбранное им среди березовой рощи и названное им не без изящества «Монрепо». Там, в земле, в

большом куске целлофана скапливалось его, Манаса и Ма-река, соединение, там, под белыми печальными деревьями, творилось странное таинство, рождалось новое тождество, зарождалась новая жизнь.

Не имеющая ничего общего со своими прежними воплощениями.

---

*Живет в Челябинске хороший прозаик Руслан Валеев. И есть у него два сына. Достаточно традиционный, бытовой, можно сказать, рассказ «Марина и Алексей» старшего, Айвара, был напечатан в 17-м номере «СОЛО». Теперь же представляем творчество младшего, Марата, студента исторического факультета. Человека интересной судьбы и оригинальных для молодого человека политпристрастий. Странный жребий у детей из писательских семей. Раннее и изощренное интеллектуальное развитие сочетается в них с каким-то (поймите меня правильно) фундаментальным инфантилизмом, который предполагает первенство ценностей нематериальных, духовных и всячески мирволит экзистенциальным экспериментам. И если дети поэтов, как правило, посвящают свою жизнь писанию комментариев на полях, то дети романистов ab ovo обладают умением выстраивать собственные, отнюдь не виртуальные, миры. В которых на всю жизнь и поселяются. Что нам стоит дом построить — нарисуем, будем жить... Игровое начало, как бы текстам М. Валеева присущее, на самом деле имеет весьма опосредованное отношение к постмодернистским забавам оных текстопородителей. В его случае мы имеем дело с весьма специфическим способом даже не видения мира, но с ощущением своего в реальном мире присутствия. Весьма, кстати, спорадического, отрывочного, несущественного. Поэтому особо не замеченный в типичных для юного интеллектуала эсхатологических умонастроениях и угнетенных сознаниях Марат, тем не менее, зарекомендовал себя как спец по антиутопиям.*

*Сам Рустам Валеев как-то сказал, что хотел бы видеть своих сыновей не закоренелыми гуманитариями, но представителями более гуманных профессий.*

*Дантистами, например...*

Марат ВАЛЕЕВ

## КУСОК АНАНАСА

Радио на кухне повещало, что уже полдень, но Сильвинский не торопился вставать. В комнате было едва ли десять градусов тепла, в полуразбитое окно рвались острые язычки холодного октябрьского ветра, а в постели, под двумя одеялами и старой шубой, было уютно и тепло. Резкий женский голос по радио тем временем начал извещать граждан Южно-Уральской Республики, что в связи с продолжающейся энергетической блокадой со стороны Федерации подача тепла в квартиры сокращена еще на 30 процентов, а электричество будет лишь час в сутки в вечернее время.

Выматерившись, Сильвинский выскочил из своей теплой берлоги и забегал по комнате, пытаясь согреться. На полу стояла початая бутылка водки, вымененная день назад на трехтомник Цветаевой, и из нее-то Сильвинский прилично хлебнул...

Когда-то, еще до Республики, Сильвинский был модным поэтом, сотрудничавшим по совместительству в нескольких местных и столичных изданиях. Для Челябинска он был большая знаменитость, его приглашали на местное ТВ просвещать народ по поводу новостей литературы и искусства. Гонорары, премии местного Фонда культуры, пожертвования восторженных почитателей таланта — все это позволяло Сильвинскому вести весьма широкий образ жизни.

Вся эта «красивая жизнь» кончилась враз, когда после военного переворота Уральская область была объявлена Республикой, а во главе оной встала кучка недоучившихся студентов и обиженных судьбой и родным Минобороны лейтенантов. На свою беду старший брат Сильвинского, возглавлявший филиал крупного московского банка, отказался проводить финансовые операции нового режима, после чего исчез навсегда в подвалах республиканского МГБ. Через неделю после ареста брата Сильвинского выселили из прекрасной трехкомнатной квартиры в центре города, конфисковали все имущество и объявили ему поражение в правах на пять лет.

Жизнь показалась поэту гораздо хуже, чем на самом деле. Все газеты в Республике оказались закрытыми из-за отсутствия денег на бумагу. При попытке переслать рукопи-



си в Москву Сильвинский был арестован и месяц рыл окопы на окраинах столицы Республики. Хотел пустить к себе в однокомнатную квартиру (ее дали вместо прежней районные власти) состоятельного азербайджанца, торговавшего из-под полы водкой собственного производства, так «настучали» соседи. Было плохо все!

...Часы показали начало второго, когда Сильвинский решил выйти на улицу. Общественный транспорт не ходил, поэтому до бесплатной столовой для безработных пришлось идти целый час. Пыльную тишину замусоренных улиц нарушали лишь пьяные крики подростков, бессмысленно шатающихся по дворам, да клаксоны пролетающих с огромной скоростью «саабов» и «мерседесов» новой власти.

Возле столовой уже стояло человек двести, среди которых Сильвинский узнал несколько знакомых, в том числе и Иду Зосимову, бывшую дикторшу с ТВ, и Алика Шнайдера, который до Республики был дилером косметической фирмы «Л'Ореаль — Париж» в Челябинске.

— Здорово, поэт! — прогыгыкал Адик, ощерив щербатый рот. — Папироской не богат? А то мы с Идкой последний бычок на двоих раскумарили...

Сильвинский брезгливо покачал головой. Он не любил фамильярничания со стороны людей некогда входивших в его круг. Теперь все в прошлом, чего смеяться над собственным убожеством... Когда-то Алик имел серый «Ауди», огромную квартиру и красавицу-жену; после победы Республики все богатство конфисковали, красавица ушла к соседу Митьке, ставшему теперь полковником госбезопасности, а ревнивый Алик лишился двух зубов, пытаясь «разобраться» с разлучником. Теперь он, отсидев год в тюрьме, обыкновенный божм, которых в столице ЮУР — тысячи.

Тем временем на крыльцо столовой вышел толстый мужик и сказал, что на сегодняшний день обеды кончились, а завтра и послезавтра — выходной. Толпа заволновалась, поперла было на двери, но тут же завыла сирена сигнализации, откуда-то вынырнули два «джипа» с сидевшими в них омовцами. После двух автоматных очередей в воздух толпа начала рассеиваться, и все бы было ничего, если бы не Гена Жуткий, местный сумасшедший, который с криком «Менты поганые!» швырнул в «джип» обломок железной трубы. Тут же началась пальба, омовцы разряжали в толпу обезумевших людей рожок за рожком; все кинулись в разные стороны.

Сильвинский тоже поддался общему движению и побежал с толпой в сторону площади Народной Победы, откуда навстречу уже бежала другая толпа, за которой гнались два бронетранспортера. Чья-то мощная туша сбила Сильвинского с ног, кровь брызнула из разбитого ударом ботинка рта...

И тут вдруг рядом открылась дверь иномарки, откуда высунулись сильные руки и втащили уже начинавшего терять сознание поэта внутрь салона. «Гони!» — раздался повелительный женский голос, и, взревев мотором, машина рванула прочь из человеческого месива.

От одуряющего запаха духов Сильвинский очнулся. Прямо на него глядели смеющиеся женские глаза. Катька?! Не может быть! Закутанная в рокошное песцовое манто, рядом с Сильвинским сидела Екатерина Мотовилова, с которой когда-то так славно пилося в редакции газеты «Русский дом»...

— Полегчало? Ну, слава Богу, живой! — Мотовилова оттерла его кровь носовым платком. — Едем ко мне, разберемся.

Через пять минут машина мягко въехала во двор высотного дома, причем у ворот козырнули двое охранников в форме офицеров МГБ. Поднявшись на лифте на третий этаж, Сильвинский с Екатериной оказались внутри роскошно обставленной квартиры.

— Вот тут я и обитаю, — сказала Екатерина, скинув манто на руки горничной. — Небогато пока, но красиво. Да ты ведь знаешь: я теперь Харитонова... Замужем, значит...

Сильвинский вздрогнул. Имя Харитонова для интеллигентских кругов звучало страшнее имени Сулова для диссидентствующих литераторов 70-х. Первый заместитель Председателя Правительства ЮУР, Государственный Министр печати, информации и внешних сношений, дважды Герой ЮУР, генерал-полковник Госбезопасности. И Катька — его жена?!

В двух словах Катя рассказала, что после победы Республики жить стало хреново, строительный участок, где работал первый муж, закрыли, жрать стало нечего. Мужу удалось уехать к родителям в Саранск, а Кате ничего не оставалось делать, как пойти работать на Официальное Радио. Тут-то ее и заметил Харитонов. Выпили пару раз, попросил — дала. Сразу же тебе — двойной паек, трусы

подарил голландские, переселил в дом с горячим водоснабжением. А чего теряться-то? Ну и женила его на себе, о чем совершенно не жалеет. Имеет все, что можно иметь в Республике, даже прокладки «Тампакс» и сливочное масло.

— Да ты, верно, жрать хочешь? — вдруг догадалась Катька. — Элеонора, сучка, тащи жрать!

Через минуту в комнату вплыла пухлая девица со следами трудного детства на лице и внесла поднос с едой. О! Что там было! Белый хлеб, красная икра, отварное мясо, оливки и — о, счастье! — пузатенькая бутылочка коньяка.

— Банкуй! — взревела Катька и швырнула на пол сорванную пробку. — По второй! Закусывай, а то умрешь! Ха-ха!..

В промежутках между рюмками Сильвинский рассказал Кате про свою несчастливую жизнь. Та задумалась.

— Помочь тебе сложно, — проговорила она, — но можно. Через месяц эти дураки проводят конкурс на лучший текст гимна этой трахнутой республики. Лучшим трем авторам обещают большие премии. В жюри главный — сам Сотников, его заместитель — мой дурак. Словом, если мозги у тебя есть — будешь жить.

— И многих ты так спасаешь? — усмехнулся Сильвинский.

— Да, почитай, полгорода, из наших, естественно. Любку Шукину, художницу из «Вердена» помнишь? Когда я ее нашла — на ней только кожа оставалась. А сейчас — Главный Консультант Национального Фонда Искусства, любовница самой Ирины. Не знаешь Ирку? Ха-ха! Помнишь ту дуру, которая в баре «Искра» пела про измену? Так вот — теперь она не Ирка-дырка, а Ирина Вячеславовна Холодная, Министр Культуры и Просвещения Республики, обласканная всеми. Через нее мы Любке выбили Госпремию Третьей Степени — не густо, конечно, но все же... Да много еще кого!

— Молодец... А как же супруг? Зря, что ли, его Петром Кровавым называют?

— А ты-то откуда знаешь? — удивилась Катька.

— Ходят слухи-то! А кто Друбинского в собственном кабинете в ухо застрелил? А Натана помнишь? Говорят, твой благоверный лично участвовал в расстреле!

— Чего ты на меня-то разорался? Я — баба, у меня есть сам знаешь что; делают мне приятно — получают обратно. Ты лучше не жужжи, съешь-ка лучше ананас.

Прислуга поставила на столик вазу с разрезанным ананасом, а Катька включила телевизор. На экране появилось самодовольное лицо Председателя Сотникова.

«...Со следующего месяца Правительство Республики планирует увеличить пособия на детей на 240 процентов, пенсии — на 300 процентов, а также предоставить нуждающимся еще 20 000 новых квартир...» — с улыбкой произнес генерал с экрана.

— Кать, убери его! — попросил Сильвинский. — Другой канал есть?

На втором канале ТВ ЮУР показывали запись концерта Юры Шатунова, который единственный из всех российских артистов приехал на Фестиваль «Великая Республика». Кто-то из знакомых Сильвинского уверял, что за это от самого Сотникова Юре презентовали черный «Линкольн», конфискованный после победы Республики у главного бухгалтера инвестиционного фонда «Уралинвестсервис». Говорили также, что вся московская поп-тусовка объявила Шатунову бойкот, так как в канун Фестиваля на центральной площади Челябинска были публично повешены 45 противников новой власти.

— А московские каналы у тебя есть? — в слабой надежде спросил Сильвинский.

Катька самодовольно усмехнулась, что-то передвинула на шитке за ковром, и на телеэкране показалось родное, но изрядно подзабытое лицо Татьяны Митковой. Сильвинский вдруг почувствовал, что внизу что-то предательски напрягается.

«...и как нам стало известно из осведомленных источников, переговоры лидеров самопровозглашенной Южно-Уральской республики с представительной делегацией правительства Российской Федерации могут состояться уже во вторник...» — мило улыбаясь сообщила Миткова.

— И она про это... — горько усмехнулся Сильвинский.

— Не ной, Бродский! Ешь ананас, на улице они не вялятся...

Сильвинский вяло зажевал ананас. Что-то странное почувдилось ему во вкусе фрукта. Как будто тонкие пластиковые стаканчики мелко порубили, облили лимонным соком и спрессовали.

Посидев еще полчаса, Сильвинский благоразумно засобирался домой. С собой Катька дала ему увесистый сверток, набитый хлебом, колбасой, креветками и прочим. На пред-

ложение довести до дому Сильвинский отказался. Домой не хотелось, нужно было что-то иное, сильное...

Катькин дом стоял в паре кварталов от центральной площади. Бронзовый Ленин нехорошо посмотрел на петляющего по микромасштабу асфальту поэта...

Взз-жж-зз! Резко завизжали тормоза, и Сильвинского ударило в бок. Приподнявшись, он увидел черный лимузин, из которого прямо на него с ненавистью и страхом смотрели желтые глаза Председателя Сотникова.

— А-а-а! — вдруг завопил Сильвинский.

— А-а-а-а! — ответил ему тем же Председатель.

«Смерть!» — мелькнуло в мозгу у Сильвинского. Инстинкт самосохранения заставил его собраться с силами и броситься со всех ног прочь. Лимузин, взревев, ринулся за ним.

Сильвинский бежал легко и свободно, мимо слабо тлеющих фонарей, бежал отсюда... Он будто бы чувствовал, что где-то за поворотом уже греет моторы мощный военный вертолет, в котором ждет его, готовясь взлететь каждую минуту, Савик Шустер или, может быть, Роман Виктюк... Они спасут!

Проклятый катькин сверток мешал вырваться из жути настоящего, а потому Сильвинский развернулся и метнул комок деликатесов прямо в сотниковский лимузин. Кроватьки, оливки и куски ананаса плотно залепили лобовое стекло, машина взвизгнула и, теряя управление, влетела в сверкающий застекленный транспарант с неоновой надписью «Свобода Республики — это Рай!»

— Хо-хо! — победно вскричал Сильвинский и подпрыгнул.

Ему оставалось завернуть за угол и скрыться во мраке неосвещенных улиц, но — проклятие! — маленький кусок ананаса попал под каблук, предательски взорвался сотней маленьких скользких капель, и Сильвинский, потеряв равновесие, со всего размаха налетел головой на металлический бордюр.

Уже теряя сознание, он услышал, как в черном небе усыпляюще гудят моторы. Что это было — музыка сфер или военные вертолеты спешащих на помощь федералов — Сильвинский уже не узнал.

*Прежде Катя Бушуева была известна мне как талантливая начинающая поэтесса — объемная подборка ее опусов вошла в «Антологию новой поэзии». Теперь же выясняется, что Катя пишет достаточно зрелые прозаические тексты. В них много от ее стихов, а порой (как в «Гренобльских наслаждениях»), совсем по «саше-соколовски», стихи и проза смешиваются в нераздельное единство, проливаются теплым дождичком на наши тела и души.*

*Приходит совершенно новое поколение, которое чувствует и мыслит немного по-иному, чем мы — более раскованно и даже свободно. Они, эти молодые, не понаслышке знают, что это такое, и что за этим привлекательным словечком стоит. У Бушуевой все в будущем. Выдача авансов в данном случае занятие ненужное — судя по текстам, Катя человек сформировавшийся, хотя и не очень ровный.*

*Но, тем не менее... Но, тем не более...*

**Катя БУШУЕВА**

## **РУКОПОЖАТИЕ И НЕЖНОСТЬ**

Мама сказала, что ей одна подруга сказала, что мужчины любят телом, а что ты хочешь, это правда, мама хватается за голову, но это — правда, чего же ты хочешь.

Ни один, ни один из них, впрочем, вру, только один, только один из них ценил меня исключительно за виолончель, ведь им даже дружба — влюбленность, все остальные любили: а) за тонкие пальчики и очевидную покорность; б) за явную экзотичность; в) за псевдо-шаманские вокализы, уводящие туда, где слов не нужно (и здесь чужая метафора уместнее, чем собственные образы; по крайней мере, и так понятно); г) за пухлые губки и проворный язычок; д) за просвечивающие юбки; е) вообще сексапильность; и, наконец... ж) за тонкие ноги в голубых джинсиках, раздвинутые, чтобы всего лишь — ах! — поставить между ними виолончель...

И этот последний случай интересует нас больше всего.

Пассионарные мужчины — это профессиональные мужчины во всех остальных и прочих отношениях: они быстро расстаются с собственным дилетантством, их неофитство не

длится долго, они работают, творят и трахаются чаще, дольше, больше, разнообразнее и круче... Они делают несколько дел, причем — одновременно. У них рождаются гениальные творения. Они заводят несколько любовниц одновременно. От них рождаются талантливые дети...

А маленькая, щупленькая, с экзотично-европеизированной внешностью, тонкими ножками в голубеньких джинсиках, слабыми пальчиками и очевидной покорностью во взоре — несмотря на свои многообразные, но по большей части одноразовые опыты (как вывод — грубая старость еще не приелась и не сублимировалась до приправ, специй, пряностей, гнусного эстетского поэтизирования, стремления к разнообразию в способах получения заведомого понятного результата, вплоть до извращений) — не имела ни одного романа по хорошо известному сценарию с завязками, кульминациями и развязками; кульминации наступали слишком быстро, завязок и развязок не было вовсе, были лишь застежки и пуговицы, которые расстегивались в нужный момент.

Все ее *эти* с песней по жизни шагали и не скрывали своих намерений, хотя по законам композиции это как раз и нужно делать, чтобы кульминация была долгожданнее, а развязка — трагичнее. Отнюдь. Она так и не узнала, насколько изворотливы и благородны мужчины в своих намерениях и признаниях, сколько коварства в их речах, но коварство и впрямь опереточное, потому как слова из спектакля в спектакль одни и те же, и это надо бы знать.

Но ведь нет! У нас ведь узкие плечики и острые локотки, тоненькие ножки в голубеньких джинсиках и очевидная покорность во взоре — цветочек; нас нельзя обижать. Самовлюбленность вплоть до аутоэротизма. Но когда покорность во взоре пересекается с профессионализмом, все развивается почти...

Но нет, не совсем. Это многосерийный фильм. Далеко не первая серия.

И он — пассионар-профессионал, выполняя свое жизненное предназначение, заводит, не сразу, конечно, трех любовниц с разной степенью плотности соприкосновений и душевности — по убывающей. Каждая последующая героиня появляется на сцене с интервалом примерно в четыре месяца, что, в общем-то, не так уж и важно... Та, что нам интересна, поскольку лишь про нее-то нам известно все, занимает

классически среднюю позицию (подразумеваются золотые перинки, хотя это и грешит против истины).

Но, конечно, все эти три не подозревают, в каких бы отношениях могли бы они друг с другом находиться, если...

Но «если» вдруг берет и наступает.

И вот они прогуливаются, нежно взявшись за руки — он и та, с которой степень плотности соприкосновения и душевности наиболее высока: он с ней живет в одной квартире, он с нею спит в одной постели, он с нею разделяет ужин, и он заботится о ней.

А в это время у героини № 2 (хотя для меня она — героиня № 1) был тур на трамвае в сторону района, где они в одном квартале живут, «но с хрустом кружево пернатое рвалось», когда, выглянув из окошка трамвая, наблюдает она такую картину. Она ведь не подозревает, что степень душевности их общения — его и ее — несколько не та, что в первом случае: он с ней живет почти что рядом, порой ложе разделяет, но все ж заботится о ней.

И вот — скандал, демонстративные сцены и слезы из глазок, где раньше была одна покорность, объяснения в маленьком закутке, и нежно держит он ее за руки, уговаривая коварно-медовым голосом поверить ему и изливать из глаз одну покорность, а не слезки, и все еще держит ее нежно за руки.

А в это время у героини № 3 происходит тур по коридорам величественного здания, где они втроем одним делом занимаются, когда, завернув случайно в этот закуток, видит она такую картину. И ведь она не подозревает, что степень душевности их соприкосновений не так высока, как в предыдущем случае: он работает с нею вместе и, конечно, спит иногда.

И не подозревает она, что рукопожатие и нежность, так возмущившие ее сейчас, явились следствием другого рукопожатия и другой нежности, степень которой весьма и весьма...

Какое право имела она возмущаться и ревновать?! — говорит вторая. Какое право имела она возмущаться и ревновать, выходить из трамвая, чтобы убедиться; какое право имел он прекратить эту нежность соприкосновения наших рук?! — говорит первая.

А третьей ничего сказать — четвертой еще нет...



*Василий Дорогокупля известен не только как персонаж из стихотворений полумифического А. Богданова, но и как автор маленького романа о крупных парнях «Все свободны». Достаточно традиционный, он, тем не менее, интересен еще и как один из представителей «екатеринбургской школы письма» (вспомним более «раскрученных» писателей, группирующихся вокруг журнала «Урал» — А. Верникова, А. Матвеева, А. Крашенинникова, В. Исхакова), которых характеризует густое метафорическое письмо, особый семантический синтаксис, из которых, собственно, сюжет, как институция заведомо служебная, второстепенная, исподволь и рождается. Куда важнее само варево текста, в котором переплавляются самые разнообразные дискурсивные стратегии и тактики...*

*Ну да, вторичные моделирующие системы, как и было сказано...*

**Василий ДОРОГОКУПЛЯ**

### **РАССТУПИТЬСЯ, ИОРДАН!**

*(Свидетельство очевидца)*

Нас было много, целая толпа. Иные были выпивши, иные несли бурдюки вина с собой, чтобы выпить на месте и этим отпраздновать великое чудо. Февда вел нас, он шел впереди и вел нас за собой. Февда — великий пророк и Мессия, он вел нас к Иордану, чтобы показать чудо, он хотел, чтобы мы убедились. Он скажет Слово, одно лишь слово, и воды реки расступятся, и мы пойдем посуху, не замочив ног, и это будет истинное чудо, достойное самого Моисея, и Февда скажет нам, что будет потом. А чего потом не будет, про то мы знаем и сами, это знает каждый из нас. А не будет потом латинян, не будет их тупоголовых солдат и полиции, не будет эллинов, которые нас презирают, а сами не верят даже в собственных богов, не будет полудиких последышей галилейского сектанта, что завывают ночами в пещерах и заброшенных каменоломнях, не будет сборщиков налогов и самих налогов не будет, и наступит благодать на земле обетованной. Так Февда говорил нам на рыночной площади. И перед храмом он говорил то же самое, а затем мы все пошли к реке, чтобы увидеть чудо. От города это не близкий путь, жара была сильная, и многие еще с рынка запаслись бурдюками, потому как Февда сказал, что скоро у нас все

будет общее, и мы для начала поделили вино — купец сперва возмущался, кричал, а после куда-то пропал.

Мы шли к Иордану, нас было много, великий Февда шел впереди. Стороной ехали верхом несколько латинян, с ними был их начальник полиции или как его там, который с серебряной бляхой на панцире. Они нас не трогали, да и за что нас было трогать, мы ведь просто шли, и никто не кричал «Долой цезаря!», мы только кричали «Слава Яхве!», а это не запрещается — сам господин прокуратор Куспий Фад говорил, что Рим признает свободу культа и всех вообще отправлений, он говорил это в прошлом году на празднике.

Мы шли вперед и громко пели гимны. Февда запевал, мы подхватывали. Было ужас как жарко. Но вот наконец за последним холмом открылся Иордан. Мы подошли к самой воде и здесь остановились. Февда сделал нам знак, и все замолкли, только какой-то пьянчуга все время икал, еле его успокоили. И тогда Февда сказал Слово. Он повернулся к реке, простер длани свои и сказал:

— Расступись!

Одно только слово. Мы замерли в разных позах, прямо как те фигуры на расписных эллинских горшках. И я увидел! Мы все увидели. Мы увидели, как воды бессмертной реки заколебались и начали вздыматься двумя горбами, расступаясь посередине. И тогда, все так же простирая длани, Февда пошел по речному дну! Он пошел по тому месту, где только что была вода, и вода отступала, и Февда медленно шел, он шел почти посуху. Я говорю «почти», потому что там еще оставались ил, тина, водоросли и всякой грязи выше колена, но воды там уже не было, вода расступалась перед великим Февдой, и я это видел собственными глазами! Чудо! Чудо! Мы все тотчас же собрались идти вслед за ним, и некоторые уже двинулись, громко поминая Яхве, но в это время прямо перед толпой возник на своем коне латинский начальник — тот самый, который с бляхой. Он погарцевал немного туда-сюда, чтобы, значит, получше посмотретья, а потом развернулся к нам хвостом, а мордой к реке, да как рявкнет! Боже правый, вот это голос! Окажись на том берегу какой-нибудь Иерихон, он бы, пожалуй, рухнул.

— Отставить!!! — проорал начальник. Одно только слово. Пьянчуга икнул, все вздрогнули, Иордан сомкнулся. Он сомкнулся единым махом, волны сшиблись и накрыли собой великого Февду, накрыли с головой, так что он вовсе исчез из виду. О ужас, ужас! Смятенье прокатилось по толпе, все

растерянно заметались и только сейчас заметили густую шеренгу солдат, полукольцом стоящую по гребню холма. Там были и всадники, и среди них — я сразу узнал — господин Куспий Фад, прокуратор, собственной персоной. Паника, сумятица, и вдруг...

— Долой! — пророк Февда стоял меж нами, весь мокрый, в грязи и тине.

— Долой! — крикнул он. — Гоните неверных, они помешали чуду! Бейте их! С нами Яхве!

— Бей латинян! — взревела толпа. — Гони инородцев!

Похватав свои бурдюки и посохи, мы ринулись на врагов, и те как начали рубить нас направо и налево — только хруст стоял! В мелькании мечей, голов и рук я высмотрел лицо Куспия Фада. Господин прокуратор всю хохотал, осервив рот под железным шлемом, а когда я на миг встретился с ним взглядом, мне показалось — нет, я знаю точно! — он мне подмигнул. Он подмигнул, а потом раздался свист стали и в глаза мне плеснула чужая кровь. Я упал, по мне прошли ноги, легионеры сгоняли оставшихся людей к воде и добивали их там.

Я лежал без движения до тех пор, пока не смолкли последние крики и твердый шаг уходившей колонны не угас за вершиной холма. Тогда я поднялся и пошел краем берега. По пути мне попался пророк Февда, я узнал его по мокрой накидке. Солдаты отрубили ему голову, чтобы, как это принято, воткнуть ее на шест посреди площади. К вечеру я уже был далеко.

В город я решил пока не возвращаться и по пути пристал к одному торговцу-эллину, продававшему в окрестных деревнях свои расписные горшки и прялки улучшенной, по его словам, конструкции. Эллин этот — на редкость веселый человек, я ни разу не видел, чтобы он молился, но зато он не прочь выпить вина, все время шутит и насмехается над чем попало. Он и надо мной смеялся, когда я рассказал ему про Иордан. Для этих эллинов нет ничего святого. А ведь я видел своими собственными глазами, как воды реки расступились и замерли двумя горбами вдоль узкой, почти сухой тропы, по которой шагал, простирая длани, великий Февда. Хорошо, допустим, что мне и другим все это помешалось, но он-то откуда может знать наверняка?! Ведь его не было на берегу Иордана, когда Февда пришел сотворить чудо, а я был.

Я был там, клянусь Зевсом!

**КУЛЬТУРА СЛУЧАЯ**

*(Хроника одного международного инцидента)*

Все шло строго по графику. Рейсовый самолет крупнейшей в мире авиакомпании на приличной высоте и соответствующей скорости передвигался в воздушном коридоре над дружественной территорией одной почти демократической страны. Сто двадцать три пассажира самолета возвращались на родину из краткосрочной деловой поездки и с жадным интересом читали на лету свежую отечественную прессу. Десять других пассажиров безучастно дремали в своих креслах, возвращаясь из разных долгосрочных командировок. Еще трое пассажиров были гражданами неопределяемой, но вполне приемлемой державы; каждый из них имел по круглой бороде, оранжевому тюрбану на макушке и пакету жевательных леденцов за щекой — на случай припадка воздушной болезни. Кроме того, они имели на троих один большой там-там, зарегистрированный в таможенной декларации как цимбал, поскольку законами страны, в которую они летели, ввоз там-тамов предусмотрен не был, тогда как ввоз цимбалов всячески поощрялся. Рослые дружелюбные стюардессы угощали всех подряд минеральной водой прямо из бутылок, а иностранцам поднесли здоровенную пиалу с пепси-колой, выпить которую им помешали пакетики леденцов и глубокие религиозные чувства. Самолет летел.

Одновременно с этим далеко внизу, на территории одной почти дружественной страны, мятежная антиправительственная группировка готовилась к боевым испытаниям только что полученной по тайным каналам новейшей трехступенчатой ракеты класса «земля-воздух». Группировка состояла из непримиримых фанатиков, фашиствующих феодалов и одурманенных пропагандой миролюбивых крестьян. Предводителем у них был невменяемый уголовник. Ракета имела самонаводящееся устройство, реагировавшее на запахи авиационного керосина; ее привезли в разобранном виде из дальнего далека на верблюдах, которые страшно устали, потому что в этих горах совсем не было пищи (и воды там тоже не было). Ракета готовилась к старту.

Международный воздушный коридор, по которому летел рейсовый самолет крупнейшей в мире авиакомпании, пролегал неподалеку от границы с одной малодемократической милитаристской страной. Руководители этой страны, придя к власти вопреки воле народных масс и не считаясь с мне-

нием мирового сообщества, грубо попирали собственную конституцию и всячески поощряли в войсках нездоровые агрессивные наклонности. Как раз в это время в воздушном пространстве малодемократической страны, у самых ее границ, барражировал истребитель-перехватчик заокеанского производства, ища, к чему бы придраться и как бы кого перехватить. За каждую воздушную провокацию летчики получали премию в твердой валюте плюс благословение аллаха. Истребитель выискивал цель.

В рейсовом самолете сто двадцать три пассажира со все возрастающим интересом продолжали читать свежую прессу, в которой говорилось о небывалом расцвете альтернативной культуры и об успешно подписанном совместном коммюнике. Десять пассажиров спали. Стюардессы разнесли всю воду и теперь ходили по салону и собирали пустые бутылки. Обстановка была спокойной и вполне располагающей, до тех пор, пока трое иностранных граждан в оранжевых тюрбанах не устроили вдруг весьма безобразную сцену. Один из них, отойдя в хвост салона, стал спиной к туалету и вытащил из-под своего балахона заряженную базуку; тотчас же два остальных злоумышленника извлекли из недр цимбал-там-тама станковый пулемет и деловито покатали его по проходу в сторону пилотской кабины. Некоторые из пассажиров забеспокоились, но стюардессы выказали завидное мужество и присутствие духа, продолжая как ни в чем не бывало собирать пустые бутылки. Тем самым панику удалось предотвратить. Пассажиры вновь углубились в чтение, самолет продолжал лететь своим курсом.

Между тем, далеко внизу под ними, члены мятежной антиправительственной группировки как раз закончили приготовления к пуску новейшей ракеты класса «земля-воздух». Предводитель банды, невменяемый уголовник, был изначально далек от всякой культуры, совершенно не умел видеть альтернативу и за всю свою жизнь не прочел ни одного совместного коммюнике; поэтому он хладнокровно навел ракету в небо, где пролетал рейсовый самолет крупнейшей в мире авиакомпании, и с диким хохотом нажал на гашетку. Ракета взяла старт.

В это время истребитель-перехватчик с опознавательными знаками одной малодемократической страны, подстрекаемый с земли своим безответственным и недалекновидным руководством, вошел в чужое воздушное пространство и с провокационными целями приблизился на расстояние сорока

пяти метров к рейсовому пассажирскому самолету крупнейшей в мире авиакомпании.

Достигнув предусмотренной эксплуатационными характеристиками скорости, ракета отделила первую ступень. Два человека в оранжевых тюрбанах по-прежнему катили пулемет в сторону пилотской кабины, стюардессы собрали огромное количество пустых бутылок (половина из которых оказалась водочными) и начали запихивать их в специальные пластиковые мешки. Ракета отделила вторую ступень, и в этот момент пилот истребителя-перехватчика, нагло ухмыляясь в микрофон, на ломаном иностранном языке приказал экипажу лайнера немедленно менять курс и приземляться на территории одной малодемократической страны. Пока экипаж молча переживал создавшееся положение, двое в тюрбанах подкатили пулемет к пилотской кабине и, просунув дуло внутрь, на еще более ломаном иностранном языке потребовали развернуть самолет и лететь в третью страну, весьма отдаленную и по всем признакам абсолютно недемократическую.

Новейшая ракета класса «земля-воздух», полученная по тайным каналам мятежной антиправительственной группировкой, самонаводилась на цель по запаху авиационного керосина. В тех случаях, когда ракете предоставлялась возможность выбора, она, естественно, выбирала керосин лучшего качества. Малодемократическая страна, чей истребитель-перехватчик находился в сорока пяти метрах от рейсового самолета крупнейшей в мире авиакомпании, славилась исключительно высоким качеством своего авиационного топлива. Пилот не успел катапультироваться.

Когда поблизости произошел взрыв, и самолет сильно трянуло, молодчики в оранжевых тюрбанах сразу подумали, что это взорвалась адская машина, подброшенная в багажный отсек их недругами в зеленых тубетейках. На самом же деле в результате толчка у адской машины, действительно подброшенной в багажный отсек, заклинило стрелки часового механизма, и она позже не взорвалась вовсе; однако террористы этого не знали, и посему, забыв про пулемет и базуку, вытащили из там-тама три парашюта, открыли наружную дверь и спешно покинули борт самолета. Все трое благополучно достигли земли и опустились на пустынное горное плато, где среди скал безуспешно пытались пасти своих голодных верблюдов члены мятежной антиправитель-

ственной группировки, все, как на подбор, щеголявшие в тюбетейках ярко-зеленого цвета...

А рейсовый самолет крупнейшей в мире авиакомпании продолжал свой полет строго по графику; в салоне царил спокойная и располагающая атмосфера. Сто двадцать три пассажира оживленно обсуждали только что прочитанную свежую прессу. Проснулись еще десять пассажиров, возвращавшихся из долгосрочных командировок, и попросили чего-нибудь попить. Все запасы минеральной воды были уже выпиты, но рослые дружелюбные стюардессы сумели столь вежливо и тактично ответить возжаждавшим десятерым пассажирам, что те мигом угомонились и вновь погрузились в сон.

Им снилось то, на чем они сэкономили деньги; снились пляжи, бунгало, кофе под пальмой, яхты, шезлонги, рулетки, коктейли, полупоклоны официантов, кубики льда в хрустальном бокале и девушки, стройные, темноглазые, в демократичных до предела купальных костюмах...

## У НАС В ИСПАНИИ

*Быть испанцем — самое серьезное  
занятие в мире.  
(Хосе Антонио Примо де Ривера)*

— Бросим кости, — сказал дон Мигель. — Проигравший пойдет за хересом.

Херес кончался. Всем выпали тройки и двойки, кроме дон-на Хосе — ему выпала одна четверка, но зато второй кубик, слетев со стола, был захвачен мышами и безвозвратно утерян. Дон Хосе проиграл. Молча он натянул сапоги, осмотрел пистолет и, закутавшись в плащ, прыгнул прямо с балкона в кастильскую полночь.

— Продолжаем, — сказал дон Хуан. — Вот хорошая песня, — и он запиликал на скрипке.

Изловчившись, дон Пако поймал на гитаре аккорд, дон Мигель застучал сапогами об пол и защелкал единственной кастаньетой. Разогнавшись вовсю и пытаясь еще подпевать, они сбили мелодию, грянули каждый свое и вскорости остановились.

— Ты играл не ту песню, — сказал дон Хуан дону Пако.

— Я играл то, что знаю, — ответил дон Пако достойно. — Эта песня была про любовь.

— Я люблю про войну, — заявил дон Мигель. — Я два года сражался с бушменами в Бушменистане. Мы, испанцы, бойцы хоть куда.

— Знаем-знаем, и орден твой мы уже видели тысячу раз...

— Я его получил за атаку в безлюдной пустыне и за твердость испанского духа...

— Попробуем снова, — дон Хуан замахнулся смычком. — Ну-ка, Пако, в миноре, на полтона ниже.

— Это как? — удивился дон Пако.

В углу зазвонил телефон. Дон Мигель взял трубку и слушал.

— Проклятье! — воскликнул он через минуту. — Не хватало напасти! Там дона Хосе замочили...

— Вы подумайте, что за народ! — рассердился дон Пако. — Совсем никакого порядка! По закону теперь мы должны отомстить.

— Это дело святое, — сказал дон Хуан. — Дон Мигель, принесите сюда свою шпагу.

— Шпагу? Это зачем?

— Мы на ней поклянемся.

— Да, но шпага хранится в ломбарде, поскольку она с позолотой. А без клятвы нельзя?

— Чтобы я что-нибудь сделал без клятвы?! — возмутился дон Пако. — Иль я уж совсем не испанец?!

— У меня есть трофейный бушменский топор, — предложил дон Мигель. — Поклянемся на нем и закончим скорей это дело.

— Что ж, пусть будет топор; слава Богу хоть он у вас без позолоты...

— Поглядите — кто там?

— Дон Хосе! И весь мокрый насквозь!

— Дайте руку, — позвал с улицы дон Хосе и полез на балкон.

— Каково, дон Хосе? Слух прошел, будто Вас замочили...

— Чтоб их всех пронесло по седьмому разряду с притопом! — пожелал дон Хосе. — Разбили об мою башку две дюжины бутылок и отобрали пистолет, проклятые таксисты! Я пропитался хересом снаружи и пересох внутри... — Стянув с ноги сапог, он вылил из него в бокал вино и выпил залпом. — Да, отличный херес. Я так и думал: эти не обманут, а то цыгане в прошлый раз мочили чем-то кислым, навреде «Рислинг». Проклятые цыгане! Эй, Пако, позови-ка



сюда женщин! Пускай несут лохань, я выжму в нее плащ — грех пропадать такому угощению...

Когда лохань была принесена, плащ выжат и наполнены бокалы, дон Пако предложил еще раз бросить кости и пить по маленькой. Его подняли на смех. А полчаса спустя в широкополой шляпе с балкона шумно прыгнул дон Мигель. Он шел менять бушменистанский орден на пять бутылок хереса с какой-нибудь нагрузкой: смычком, игральными костями или пистолетом — у нас в Испании в любом ночном трактире есть твердый преysкурant обмена орденов.

---

*Поэзия на Урале, собственно говоря, как и проза чурается каких бы то ни было крайностей — климат не тот: человеку пишущему стихи вовсе не обязательно соотносить себя с общепoэтическим контекстом, ориентироваться на новые веянья и моды. Стихи в провинции, может быть, самое действенное и самое доступное средство для излечения экзистенциальной шизофрении-изжоги, для решения «внутренних проблем». Когда участвующий в процессе может действительно влиять на результат — тем, хотя бы, что от человека читающего он переходит в разряд реально действующего, пишущего. В провинции пишут не для стенгазеты даже, но для себя, для своей мамы, своей собаки беспородной.*

*Все это ни в коей мере не относится к нашим поэтическим подборкам, представляющим эпохальный проект фонда «Галерея», в котором уже некоторое время готовится наиболее полная и солидная «Антология новой уральской поэзии». Борис Кончеев проходит в ней по разряду «ментальной поэзии», то есть сугубо головной, рациональной. Короче говоря, культурной, рефлексивной и прочая.*

*Но стихи, между тем, от этого хуже не становятся...*

**Борис КОНЧЕЕВ**

## ПОСЛЕ АНГИНЫ

...снег тает. Так снимают кожу  
нет так немой поет с листа  
слова летящие как листья

шуршат мышинные слова  
как детский страх агаты кристи  
болит больная голова  
нам не дано предугадать  
нам не дано себя увидеть  
а мог бы просвистеть скворцом  
а мог бы бабочкою лыбядь  
а мог бы под фашистский танк  
а мог бы пригову по морде  
как Агасферу Агасфер:  
пошел бы ты в ссср  
в чернобыль свой на белом форде  
нет я ничей не современник  
нет я не тайный большевик  
единоличник-безбилетник  
в сочельник в чистый понедельник  
с пододеяльником улик:  
там голос был там был глагол  
огонь и водные стихи  
любовь и кровь и зол  
поэт как ванька-встанька в тире  
он уголь пылающий огнем  
и нам уже остывший уголь  
падение добычи угля  
какое низкое паденье  
жестокий век герой труда  
вселился в новое строенье  
слова слепящие как мечь  
слова слепящие как кисть  
рябины спи дитя природы  
запретный плод любви несчастной  
сорви когда-нибудь сорви  
...и кислородом огороды  
взрывает зелень изнутри...

### МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

Серебряный, серебряным — луна,  
Себя, собой, смертельные белила...  
Когда не спишь, когда б не спали на  
Войне, как на войне, война слепила

Себя, собой две точки — А и Б,  
Где А — луна, Б — Вавилон небритый,  
Подраненный на маленькой войне  
В метро, подранок маленький,  
Подросток-переросток.

Но — чу, встаешь и не включаешь свет,  
Неведомо куда летишь и мчишься,  
В руке сжимая лунный пистолет.  
А тот покой... Ты даже мне не снишься,

А снится только черный горизонт  
Ad marginem, а в центре — тьма и тьма,  
И тьмы уже закрытые глазницы.  
И ужаса открытые глаза.

Ты тонешь, если жив, или не тонешь,  
Когда бы ангел нас коснувшись взглядом  
На медленное небо отлетел.  
Но ты штурмуешь лунные преграды,  
В том выявлен твой умственный предел.

Ни ангела, ни друга, ни надежды —  
Мы входим в безвоздушное пространство,  
Один в открытый космос выхожу.  
И звездопадов млечное убранство  
За окнами мне нужно как ежу.

О, мертвый космос! Сколько в этом звуке  
Трагедий беспросветных и надрывов,  
Нарывов на здоровом нашем теле...  
Сомнамбулизм и лунная дорожка,  
И мысль о мысли. Я опять бильярд.

Под бременем стального паука  
Рифмую кровеносную систему —  
Метель разлук, подземную экзему  
С надземною, что встала на века,  
С рубиновыми звездами пока.

Да, паутина самых быстрых улиц,  
Со всех сторон четвертая стена.  
Москва, я твой четырехногий брат,

И я хотел не тюбиков, а устриц,  
Которыми бассейн богат.

За окнами рябит до горизонта  
От белых и от самых черных дыр —  
Князь ночи облетает оба фронта  
И высекает шпорой тыщи искр.

---

*Опус Я. Гайворонцева «Капчо», названный критиками «народийным эпосом» («Знамя» № 8, 95) и «знаменательным явлением flat-arta эпохи загнивающей идентичности» («Постскриптум» № 5) явился для студенчества конца 80-х культовым текстом, который объединил вокруг себя некую группу творческих единомышленников. Опубликованный в самиздатовском альманахе «Персія», этот слегка стилизованный под лубочный примитив текст вошел в пословицы и поговорки, помог идентификации многих и многих людей, оставшись в истории местной тусовки произведением просто-таки легендарным. Как бы простодушный монолог о содеянном за день оборачивается символом параллельного существования времени социальному, ангажированному. Перечень самых простых желаний и действий имеет здесь силу некоего первородства, архаического, очищенного от «культурных слоев» ритуала. Да, документ эпохи развитого стабильности, уютной однозначности и прямых, «черно-белых» оппозиций. Но не потерявший, тем не менее, обаяния и внутреннего задора, очарования первоисточника.*

## Я. ГАЙВОРОНЦЕВ

### «КАПЧО» И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Я не спешу закрыть свои сверкающие глаза,  
И устремиться в отражение дневных проблем.  
Здесь, на балконе, не мешают мне чужие газы  
И нет ужасного нашествия дилемм.

Капчо какое-то неслышно пролетело,  
 Напротив в доме только что мелькнуло солнце  
и нет его...

Днем все вокруг и пело и гудело,  
 А тут, казалось бы, услышу маленькую дрянь,  
которая пошевелится.

Как хорошо. И ничего не беспокоит.  
 Хотелось только спать. А тут — свежайший ветерок —  
как ободрить меня он смог!  
 И ветерок развеял смог. А надо мной медведица:  
большая и поменьше.

Не падает, и словно сон. Где сон — там сны,  
 Там нет материализма, которого за школьною  
ужасной партией  
 (Похожей, кстати, на орудье пыток изощренных),  
 Наполучался я, и, как комар, напившийся дурману,  
 Свалился в забытьё...

И вот сижу на воздухе,  
 Балкон мой белый,  
 Слипаются глаза, они завешаны вуалью...  
 Дерутся кошки... прекрасный сад,  
 Дворец о тысяче окон,  
 Абстракция. *Меня ударил сон...*

\* \* \*

*Остановился, оглянулся.  
 Вот тут мне можно дух перевести.*

Сегодня я ходил в «Атлет»,  
 Потом — помылся и покушал.  
 Включил любимый TV-set  
 И радио чуть-чуть послушал.  
 Потом увидел грязь и крик  
 И все на месте завертелось.  
 Хотелось время мне на миг  
 Остановить, как мне хотелось  
 Забыться в суетном миру.  
 Я вам скажу, задача, братцы, не из легких,  
 Вчера я кушал красную икру...  
 Но рядом ползали полевки,

Их серый цвет пугал меня,  
 Но через это, в мраке, в пыли,  
 Я видел солнце — нет сильней огня —  
 Как мы его случайно не забыли?

Забыть нам солнце ну нельзя никак!  
 Ведь это — всем огням земным идиಲ್ಲий.  
 Как страшно нам теперь попасть впросак —  
 Ведь это в школе мы не проходили.

Не проходили мы и тысячи дорог.  
 Дорог, которых нет еще на карте.  
 Зато нам очень вкусным кажется пирог,  
 Как будто я и вправду — заяц в марте.

\* \* \*

Я где-то видел множество пельменей  
 . . . . .  
 А рядом тут сидит большой любитель  
 Поговорить о том, о сем,  
 Порассуждать о верности наитий:  
 Мол, мы сейчас козявкам нос утрем!

---

*Самиздатовский журнал «Уголовное дело», до сих пор любовно издаваемый в одиночку Сергеем Леготиным буквально в нескольких экземплярах, возник на развалинах челябинской рок-тусовки. Специфической чертой которой было самое минимальное внимание собственно к музыке. Но к всяческим сопутствующим моментам — журналам, атрибутике, образу жизни, наконец. Тогда, в 70—80-х у нас выходил достаточно известный в узких кругах «Сэлф», который позже, на излете перестройки, породил «Удод». Сам Леготин ко всей этой истории имеет весьма опосредованное отношение, но эстетика, в которой «Уголовное дело» выдержано от начала до конца, сформирована именно этими обстоятельствами, по всей видимости, типическими или для рокерской прессы, или «запахом эпохи», в которую эти самые рокеры (как и все мы) умудрились вляпаться. Такие делатели, как Сергей, всегда сидят между многочисленных*

стульев, в какой-то пусть маленькой, но своей нише, и буквально ко всему, ко всем вообще имеют опосредованное отношение. Как сверчок за печкой сидит себе и разрисовывает с тицанием превеликим тома уголовных дел карикатурами эротического содержания и наклеивает на их обложки резиновых лягушек. Смак теряется не только в пересказе, но и в перепечатке. И даже дезавуация псевдонимов (как в представленных здесь текстах) не входит в противоречие с этикой-эстетикой. Даешь новую анонимность! Нормальное проявление flat-arta «сам-на-сам», ни на что и не претендующее. Но именно такими людьми и прирастает земля южноуральская.

Итак, наш ответ сложностям переходного периода — эпическое спокойствие, глубокий и продолжительный сон социальной активности, питательная диета из обрывков маргинальных философских доктрин и по-прежнему доступного портвейна, зачастую заменяемого в последнее время каким-нибудь дурным пивом капиталистического производства (они, говорят, туда для пущего градусуса вот так прямо спирту и подливают)...

**Сергей ЛЕГОТИН**

### **ВЕРБАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ**

*(Тосты для вдумчивой пьянки)*

Хорошо ли пить водку? Вопрос, заметим, более интересный в развитии умозаключений, чем в окончательном ответе. И что еще отраднее — дилемма требует вовсе не утилитарно-статистических примеров (понятно, что при существующей экологии, скажем красиво — в дымке, говорить о каком-либо патологическом влиянии алкоголя на организм не умно). Подход натурально-творческий — вот та созидательная суть, чья категоричность уместна во всем, и при наших раскладах, в частности.

Однако русскому человеку думку прожить просто так, от балды, невозможно (это ведь только басурманский дзэн может взглядом на реку трупы врагов вызывать). Чтобы сопереживать — нужно видеть кому. И чувствовать отдачу.

Дружбаны, братаны, земели. Алкаши, бухарики, пьяницы. Во дворце весь досуг аборигеновский стоит прочно (а потом и валяется даже, но не менее надежно) на ритуале

питейном, на том, что называется вмазать, втереть, поддать, а если серьезней и дольше — бухать крепко-крепко.

Самодостаточность нашей пьянки очевидна. Но тот будет неправ изначально, кто увидит в ней только стакан с водярой, махнутый лихо, хоть даже с закусем.

Толковому замаху — достойное слово. Когда говоришь от сердца — и пьется свободней. И можно надраться до зеленых соплей и выехать, но не надраться. Потом уже не жизнь прожигаешь, а мыслишь — ха! — альтернативно. А дальше песня родится, к примеру, еще какая складность естественная. А она, как известно, основа *культуры*, залог *живого этноса*.

Но вот времена, ити их мать, иной раз и почувствовать себя *народом* не с кем. Один — в страхе беспричинном, боится; другой — с умом раздружится напрочь; третий, четвертый... Пятый...

В одиночку пить опасно. И не веселит вовсе, стресс не снимает. Шиши похмельные — еще не самое худшее.

Тост, или по-нашему, вербальный замах — собеседник нехилый. Когда никого нет возле, а душа еще не поет, но уже плачет — время вдумчивой пьянки; значит, запасайся флаконом, бумагой, а не хочешь — пиши на столе; и тогда то, что есть — будет спето, и потом, и опять, и еще...

Эко, как я заговорил! Маяковский? М-да. Васиссуалий Лоханкин больше...

Не в этом дело. Заявляю (а я уже принял на грудь изрядно, под тройку тостов): наивность дворового творчества иной раз смешна, эстетские упражнения, высосанные из пальца — мертвы. Смеются, как известно, над живыми.

Переосмысленный первоисточник народного фольклора — художественный труд, животворящий и душеполезный. Народная дидактика, усугубленная известным напитком — чудо (но не из кинофильма «Праздник Святого Йоргена»): способствует и молодит. Физиологию-психику не деградирует — точно.

И для рационалистов, фом неверующих и опасливых. Проверено опытами на себе, психическая подготовка к выпиванию посредством громкой читки тостов влияет на сопротивляемость организма, снижает риск отравления от т. н. «паленой» водки. Факт.

Распечатывая флакон, согласимся: интеллектуалообразная, литературная форма вербальных замахов не выживает и не может выжить в реальной повседневной жизни. Дей-



ствительно, эти сочинения — искусство. Но оно, смеем надеяться, все же поет нашу *советскую дворовую культуру*.

Так что, бухаем? Тьфу ты, сельпо... Замахиваем!

В тревожные старые времена жил один могущественный хан. Был у него сын, плоть от плоти, неукротимый и своевольный, отмеченный по рождению подчинять и властвовать.

Стар стал правитель и призвал он к себе мудреца, китайского пленника, и спросил его, что сулит ему будущее.

Заглянул колдун в тайную книгу и, трепеща, проговорил: «Ждет тебя, о Непобедимый, смерть достойная и желанная, но готовит судьба перед этим тебе страшное испытание. Уснет сном нечеловеческим сын твой единственный».

Разгневался хан, хотел было отрубить несчастному голову; еле успел старец перелистнуть страницу:

«Вижу! Вижу я по знакам волшебным, что пройдет много зим, и не одна гора к тому времени станет равниною, а на месте бесплодных степей зажурчат арыки и озера, — как слеза прекрасной пэри возвратит твоего сына к жизни. И проснется он, и полюбит избранницу».

Обрадовался суровый, но справедливый владыка: «Так угодно Небу! Не зря жил я под ним в боях и славе. Значит, не прервется род Покорителя Народов; покуда есть Вселенная — будет править ею моя кровь!» Богато наградил он прощателя и отпустил его с миром.

Так оно и вышло. Умер, не вылезая из седла, пораженный неведомыми чарами сын Великого Кочевника. Вскоре, в спокойствии и умиротворении, скончался и сам Всесильный.

...Прошло время. Опустели-обезлюдели владения ханские, исчезли табуны бесчисленные, повысыхали колодцы. Бескрайние просторы казахстанской земли обжигало раскаленное солнце. Воздух, казалось, затих навеки, и только оазисом дышал, завоеванный мелиорацией, крохотный островок: бодрил и снимал усталость. Ударную вахту по освоению целины несла женская бригада Паши Ангелиной.

Неожиданно трактор бригадира, поднимая тучи пыли, заглох и завалившись куда-то в пустоту, остановился.

Вскрикнула ударница коммунистического труда, когда раскопала она руками натруженными лаз прочный, работы нездешней. Вошла она внутрь, туда, куда уже несколько веков не проникало живое, и огляделась. И закричала трактористка во второй раз, увидев в богато убранном жургане

юношу статного, надменной красоты, бездыханного и нагого.

Оросили желтое, как у духа онгона, лицо слезы девичьи, и, как предсказывал древний чародей, ожил Наследник. Поднялся он с заклятого ложа, со словами благодарности обратился к спасительнице:

«Вечное Небо! Да будет так! Проси же, о прекрасная пэри, чего хочешь, и выполню я, как и подобает Великому Наместнику, тридцать три твоих желания!»

«Товарищ... — вздохнула истосковавшаяся по мужской ласке Паша. — Желание у меня одно, но... тридцать три раза...»

На восемнадцатом разе Властелин кончился насовсем.

Так выпьем же за тех русских женщин, чье неутомимое начало не дало и не дает возродиться поганым сыроядцам, дикому игу рабства, мироедскому гнету, батрачеству и басмачеству в нашей единой интернациональной дружной семье — Советской Родине!

Проживал в свое время во Франции энтомолог Ж. А. Фабр, царство ему небесное. И вот, этот господин, к радости нашей, стоящим делом занимался: отслеживал живую природу и записывал ее подробно. Сначала в тетрадки рабочие, позже — в книжки увесистые. Все, как бывает в мире козявочном, все как есть отмечал.

Поймал как-то натуралист насекомое богомола (обыкновенного *Mantis Religiosa*) и изучил его, извиняемся, как сраного. То есть, тщательно, со всех сторон возможных. Исследовал, сравнил, благо было с чем, сделал выводы.

Так вот. Оказалось, что нравы этого самого богомола абсолютно не соответствуют его названию. Среди прочей букашечной братии — хищник он безжалостный. Еще поразительнее в указанном смысле его подруга.

Крупная особь с крыльями внушительных размеров, имеющих впрочем, не прямо-функциональное назначение, а для устрашения. К ним — взгляд, парализующий добычу, частенько превосходящую охотника в весовой категории, длинные, с рядами шипов, бедра, заканчивающиеся холодным оружием в виде серпа. О, какая тварь!

Обалдение знакомое в повадках плотоядной найдем мы, если понаблюдаем самку в своем кругу, так сказать, на девичнике. Ужасное представление. Когда есть пища — довольна компания, веселится, обжираясь до неприличия, толстея на глазах. Брюшко вздувается, наступает пора созре-

вания яичников, а вместе с ней необъяснимая ревность. Сгорающая от страсти, испытывая известную слабость и нетерпение, а может, зуд, дерутся будущие матери без стыда, в бешенстве уничтожая друг друга.

Неописуемо возмутительно поступает самка после спаривания. Заживо поедает партнера, кроткого богомола, многодетного, трудолюбивого и ласкового отца (потенциальных сирот). Разнообразие супружеских отношений доходит до крайней извращенности. Для иллюстрации возьмем пример из первоисточника (по Ж. А. Фабру «Инстинкты и нравы насекомых»):

«Один раз я застал следующее зрелище. Самец, поместившись на спине самки, крепко держит ее в объятьях, но он уже без головы, без шеи и почти без передней части туловища. Самка, повернув голову, продолжает спокойно поедать своего супруга в то время, как остающийся кусок его тела продолжает исполнять *свое назначение*. Говорят: любовь сильнее смерти. Понятое буквально изречение никогда не находило более яркого подтверждения. Съесть возлюбленного после свадьбы, когда он больше ни к чему не нужен, — это еще можно до известной степени понять у насекомого, не имеющего тонкости чувства, но пожирать его в момент брачных объятий — это превосходит самое жестокое воображение. Я видел это собственными глазами и не могу оправиться от изумления. Мог ли он спастись в это время? Разумеется нет, так как его прочно удерживают здесь роговые защепки, которыми он доверчиво прилепился к телу самки».

Слыхали, жуть какая, — защепки роговые! Кошмар!

Не написал г-н Фабр от каких-таких причин набрасывается на своего партнера беспозвоночная подруга: то ли от удовольствия великого, то ли, напротив, — от неудовлетворения, от спроса ненасытного. Не будем мудрить и мы: философия и близость несовместимы. Тем более, что аналогии с животными до нас открыты.

Просто — возьмем и выпьем. Чтоб не ложились мы спать с букашками, чтоб не попадались под нас насекомые. Ну, а если уж потянет щупалец-рефлекс на шевелящееся, а другого рядом не окажется, загадаем: хоть бы не богомолка, хоть бы не богомолка!

А то еще вернее — выпьем снова. И опять. И вдобавок. Чтоб уже, как говорится, ни петь, ни рисовать. И в мышцах расслабуха. Запоминайте, верняк советуем!

Характер нации проявляется в дни глобального счастья или перед лицом самой опасности. Тогда общность встает в полный рост, и не скроешь, какие такие расистские наветы случаются, что за богоизбранность, и проще — где еще человек сердца жив.

Раз, как это часто случается у *советских*, собрались люди. Совсем незнакомые, всякие по профессиям и в быту, в интересах разные. Но солидарные (эпоха!) устремлениями: рабочий, крестьянин и прослойка ихняя — интеллигент. Свел их под Новый Год вместе посланник странный, ограниченный временем и пространством, с погонялом «случай», а по латыни будет «*фатум*».

И скучковал мужиков этот самый *казус* со значением, затем как на Земле он с ревизией шастал, и генофонд по народам шупал. Для каких-то своих подсчетов-анализов. И для Истории.

Собрал, рассадил празднично. Закуски выставил, и по флакону на рыло (не считая — в холодильнике). Мол, общайтесь-поздравляйтесь И будьте счастливы, — злокозненно усмехается.

Выпила компания за знакомство, за здоровье каждого, «за то, чтоб стоял, и деньги были», еще под уйму душевных прихватов. По доброй народной традиции подошли смертные к грядущему боевиту и решительно.

Чур меня! Столь символичное триединство не могло не выдать и разоблачило-таки окаянного *инспектора*: падшим дух оказался, и кто его фискалить позвал — известно. Перекрестился бы, да не умею. Кошмар!

И вот уже намахнул в одиночку стакан пролетарий, повел дымным глазом в никуда, заявил: «Что, букашки-опарыши, когда платить чаще будете?» Не понял ничего колхозник, но на всякий случай долбанул пузырь в «розочку»: «А мне доколе навоз лопатить?!» Про работника умственного труда и так ясно: «Жидаы, — кричит, — нас облапошивают! На фонари их!» Сам себя спрашивает, и сам же отвечает.

Слово за слово, пещеристыми телами — по столу, ел избежали земляки поножовщины — а тут другое помрачение!

Проверка-то хоть и плановая, но изощренная. Даже провокация, можно сказать: угнетает волю, склонности усугубляет. Уж как племена восточные сопротивлялись искусству: зубы скалили, кинжалы поглаживали, — напрасно. Уступила плоть низменной страсти, взалкала похотливой противо-

естественности. Пала *раса южная*, склоненная дружбой содомистской. А потом и *запад* совратился, был вычеркнут из Скрижалей Вселенной.

Материализовалась *напасть* лично. Зверь — не зверь, культяшка седалищная: голое, а полу какого — не разобрать. Щеки мозолистые и улыбка не поперек, вдоль лица чернеет. А расчет верен — возмутить абсурдом душевное равновесие и, воспользовавшись психикой, залезть в нее с вакханалией.

Заорала *фантазмагория*: «Ну что, попались? Вот я вам всем!»

Опешили собутыльники — эка невидаль гнусная! Совсем, видно, худо дело, коль горячка уже не демоном рогатым блазнится, а сущей паталогией, монстром из колбы доктора Фрейда. Но во второе мгновение обрадовались. Непосредственно и искренне. Как умеют умиляться свежему гостю только *советские люди*.

«Здравствуй!» — запанибрата возликовал интеллигент, и его вырвало.

«Жопа!» — идентифицировал наваждение свободный от лексических условностей крестьянин и, расплескивая водку, налил в стакан запоздавшему: «Накатывай!»

«Новый Год!» — продублировал двенадцатый удар часов рабочий.

«Здравствуй-Жопа-Новый-Год!» — само собою сложилось заклятие, и *химера*, опознанная и обозначенная, исчезла.

Так родился крылатый пароль от нелепой внезапности. Так, через хлебосольство, спасли от поруганий и позоров моральных себя и Отчизну, и Память обычные граждане, простые труженики.

Давайте же выпьем за такой складный союз рабочего класса, крестьянства и творческой интеллигенции. За его радушие и отзывчивость сердца. За великий духом народ!

Когда мы последовательны в обхождениях — не деморализовать нас никаким случайностям, никаким комплексам прихотливым, никаким «З-Ж-Н-Г»! Ни днем, ни ночью!

## СЛУЧАЙ

Не по-летнему быстро смеркалось. Огромная, без границ и очертаний, туча неумолимо наползала на город. Все живое как могло попрыталось, и улица от этого казалась эффект-

ной иллюстрацией из учебника по гражданской обороне. Тишина властвовала пугающе-гипнотически, рождая что-то тягостное и неотвратимое. В воздухе плохо пахло.

Дальние районы Кирсараев как нельзя гаже дополняли предгрозовую обстановку. Больше серая, чем зеленая растительность, низкие избушки с покосившимися от времени воротами и маленькими окнами. Слежавшийся мусор из битого стекла и непонятного происхождения костей в тряпично-бумажной массе. Отсутствие фонарей только ускорило липкую ночь.

Убогость окрестных мест навевала мысли о грабежах, убийствах, вооруженных и безнаказанно действующих бандах. Романтика киношных злодеев напрочь отступала перед суровой действительностью... Так оно и было: большая часть нераскрытых «тяжких» по городу оставалась за этими местами.

Страх, никогда не покидавший жителей, порождал слухи. Про то, как шайка убийц давно организовала где-то под кожзаводом колбасное производство, а сырьем для него служат несчастные и доверчивые бомжи. Как проигрывают в карты молоденьких девушек и одиноких прохожих, на кон выставляя их жизнь. Со временем истории обрастали невероятными подробностями, однако сомнений не вызывали, а только лишний раз подтверждали реальность происходящего.

Зверообразилось.

Какой-то шальной прохожий, озираясь по сторонам и кутаясь в старую куртку, бежал вдоль дороги, держась подале от кустов. Неожиданно он закричал. Около автобусной остановки в пыли лежал человек.

Одутловатая маска лица. Один глаз открыт, и застывший его зрачок невидящим взором уставился вверх. Волосы сваялись, облепив кровотокающий лоб. Руки незнакомца раскинуты, нога неестественно поджата под себя. О возрасте можно было только догадываться, но внешний вид мужчины вовсе не располагал к дискуссиям по факту происшедшего.

Такое здесь уже случалось.

Прохожий, запинаясь, обошел тело и, не оглядываясь, рванул дальше.

«А-а-а!» — разнеслась по глухоти тревога и ментовской сиреной устремилась пугать обывателя.

«Помощь идет! Держитесь! — сказал бы голос за кадром. — В беде не оставим!» И помогали бы в беде случай-

ные *советские люди*, давали бы позвонить из квартиры, раненому перевязку сделали бы, с искусственным дыханием, или — шину куда наложили... А то, может, на себе тащили бы горемычного. Попеременно, все пять километров тарашили, изнемогая от непосильной ноши. А посторонние, те же *советские граждане*, отрывая от семьи кусок, давали б пить и есть уставшим. И поддерживали бы их физически и морально. Смотрели б вслед героям (махали платочками): «Только б донесли! Только бы успели, родненькие!»

А потом врачи дежурные, подстраховываясь, других врачей, хирургов, со сна бы подняли. А те, не мешкая, и без разговоров примчались и боролись бы за несчастного до последнего. И вытащили бы его с того света. И тоже бы обессили. И уснули бы прямо в операционной.

И наверное, были бы медали, статьи в газетах и Доски Почета. Но случай был настоящий. И вокруг никого. И беда случилась. Мрачно.

Из потерпевшего послышался клокочущий, утробный звук. Еще через пару минут иссохшие, разбитые губы конвульсивно сжались и медленно растворились. Потекла слюна. Человек с трудом приподнялся на локтях, подтянул к себе авоську с батоном и, глядя вслед уходящему автобусу, пьяно икнул:

«Вот! Ни хрена себе — за хлебушком ходил!»

Бедняга встал на четыре кости и его стошнило.

---

## ОБ АВТОРАХ

**Анна БЕЛЫХ** родилась в 1968 году в Сыктывкаре. Закончила Педагогический Университет им. Ленина в Москве. Очень любит своего маленького сына и... покушать. Стихи пишет давно, с 12 лет, но нигде не печаталась.

**Александр СЕЛИН** родился в 1958 году в городе Волжском Волгоградской области. Окончил Московский инженерно-физический институт. Работает сценаристом. Увлекается видео-режиссурой и футболом. Прозу пишет давно, но печатается впервые.

**Александра ЖИРМУНСКАЯ** родилась и живет в Москве. Закончила Литературный институт как переводчик с финского. Прозу печатает впервые.

**Сергей ЗУБАРЕВ** живет в Липецке. Ему 30 лет. В журнале «Драматург» была опубликована его пьеса. Стихи в центральной печати не публиковались.

**Ирина ЕРИСАНОВА** живет в Москве. Работает ведущей на радиостанции «Маяк». Печатается впервые.

**Антон ЛЫСАКОВСКИЙ** — бизнесмен из Минска. Автор неопубликованного произведения «Роман-контракт № 1/99».

---



В очередных выпусках  
«Библиотеки журнала СОЛО»  
читайте произведения

**Юрия Буйды**  
**Анатолия Гаврилова**  
**Игоря Клеха**  
**Софьи Купряшиной**  
**Михаила Смоляницкого**  
**и других...**





Публикация в журнале «СОЛО» — возможность для каждого «стартующего» в литературе попробовать свои силы. Главное и единственное условие — Ваши проза, стихи, эссе должны быть необычны, своеобразны, новы... Присылайте Ваши рукописи! Они будут внимательно прочитаны, а самое талантливое — непременно опубликовано!

---

*Журнал удостоен Международной премии Букера  
«За вклад в развитие новой русской литературы»*

**АЮРВЕДА  
РОССИЙСКИЙ  
ПЕН-ЦЕНТР  
1997**

---